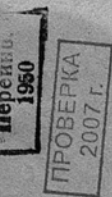


Вп 5078

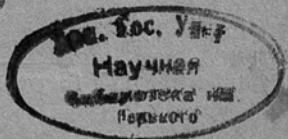
А. Ф. КОНИ

# ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ



„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“  
ПЕТЕРБУРГ  
1922



Р. Ц. — Петроград.  
Печ. 2.000 экз. Зак. № 622.



В основу всякого показания кладется воспоминание о виденном, слышанном или испытанном, в форме рассказа, опирающегося на запечатлевшее воспоминание внимание. Отсюда ясно какую роль в показаниях играют—способность останавливать свое внимание на окружающем и происходящем—и свойства и характер памяти с ее видоизменениями под влиянием времени и личности рассказчика.

Поэтому на настоящих страницах предлагается очерк *памяти и внимания*, основанный на многолетних наблюдениях старого судебного деятеля. Возвешаемое печатью и ожидаемое с живейшим интересом всеми юристами—как теоретиками так и практиками—восстановление нашего судебного строя на началах, вложенных в *Судебные Уставы* 1864 года, вызывает обращение к вопросам, тесно связанным с отправлением правосудия.

К последним, между другими, относятся вопросы об оценке и проверке свидетельских показаний,—об отношении Суда к заключению „сведущих людей“ в различных областях техники и научного знания и т. д.

СПбГУ

## ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ.

### I.

Наше время называют временем „переоценки всех ценностей“. Приветствуя ее, как зарю новой жизни, свободной от вековой условности и вызываемой ею лжи, многие думают, что присутствуют при окончательном погребении отживших, по их мнению, идей, начал и учений. Едва ли, однако, эта поспешность в праздновании победы не преждевременна. Многое из того, что признается окончательно устаревшим, пустило глубокие корни, между которыми есть еще крепкие и здоровые. Нередко то, что выдается за решительный переворот, при ближайшем рассмотрении оказывается лишь новым путем к улучшению сложившегося и существующего. Притом эта переоценка не есть какое-либо небывалое явление, начало которого почему-то приписывается концу прошлого столетия. Она так же стара, как само человечество—и история цивилизации в широком ее смысле полна проявлениями такой переоценки иногда в огромном масштабе. Достаточно указать на христианство, выдвинувшее идею *личности* человека и тем

---

разложившее строй античного мира,—на Лютера, провозгласившего начало свободного понимания и толкования Священного Писания,—на великую французскую революцию, сразу переоценившую все наслоение феодальных порядков...

Не только в общественной, но и в личной жизни большинства людей, мыслящих и чувствующих, не отдаваясь исключительно во власть животных потребностей и вожделений, переоценка ценностей явление естественное и почти неизбежное. Когда жизнь склоняется к закату и ее суетные стороны представляются особенно рельефно—приходится многое переоценить—и в себе, и в других. Благо тому, кто выходит из этой внутренней работы, не утратив веры в людей и не краснея за себя! Но и в разгаре жизни—*nel mezzo del cammin*—когда, повидимому, в личном существовании все определилось ясно и „образовалось“—внезапно наступает необходимость переоценки. Иногда кажется, что время несбыточных надежд и мечтаний, время роковых страстей и упорной борьбы за существование минуло навсегда и неширокий путь личной удовлетворенности тянется под серым небом, сливаясь вдаль с ничего не обещающею, но ничем и не обманывающею, серою далью. И вдруг, из какого-нибудь забытого или небрежно обойденного уголка жизни подымается вопрос, грозящий все изменить и властно заставляющий произвести перестройку всего здания душевной жизни человека.

Совершается „переоценка“ и в различных областях знания. Она составляет естественный результат движения вперед человеческой мысли и ее пытливости. Ее нельзя не приветствовать, с нею необходимо считаться. Но в

---

понятном и нередко благотворном стремлении к такой переоценке надо отличать торопливую готовность к смелым выводам и неразборчивым обобщениям от действительно назревшей потребности;—надо отделять ценные приобретения строгого и целесообразного труда от увлечения самым процессом работ по „переоценке“, причем случается, что скудные или непригодные плоды этих работ далеко не соответствуют потраченным на них силам. За последнее столетие медицинские науки представляют несколько примеров поспешной переоценки, где частичное ценное наблюдение или полезное открытие восторженно клалось „во главу угла“ громко провозглашаемого „переворота“, в котором потом приходилось усомниться и постепенно вернуться к тому, что было объявлено навсегда обесцененным.

Не миновали переоценки и явления правовой области. Стоит указать на новейшее движение в науке о государстве, на труды Менгера и Дююи, на отрицательное отношение к основам парламентаризма и т. п. С особой энергией предпринята переоценка карательной деятельности государства и ее оснований. Почти вся совокупность трудов старой, так называемой классической, школы уголовного права объявлена в ряде ученых исследований по „пенологии“ и „криминологии“ и в заседаниях конгрессов по уголовной антропологии—бесплодным собранием чуждых жизни теоретических положений и черствых вымыслов односторонне направленного ума. Изошряясь в наименованиях и подразделениях и втискивая человеческую природу в их мертвые рамки, классическая школа опутала жизнь своим учением о злой воле и ее проявлениях. Надо бросить все



---

эти устарелые и вредные схемы,—говорят нам,—и вместо преступного *действия* обратить главное внимание на преступное *состояние*, изучая преступный *тип*, признаки которого с любовью разработаны и указаны итальянскими антропологами-криминалистами и их французскими последователями.

Шекспир, в глубине своего поэтического прозрения, понял существование такого типа, в образовании которого наследственность и атавизм играют такую огромную роль. Он дал в Калибане („Буря“) яркий образ „человеко-зверя“. Но Калибаны существуют не только на безвестном острове под твердою властью Просперо. Ими населено, в значительной степени, все современное общество, неудачно и близоручко заменившее силу мудреца и пение чистого Ариеля—статьями уголовного уложения и приговорами уголовного суда. Для оценки виновности этих существ, ярко отражающих в себе преступный тип, с его Морелевскими ушами, Гутчинсоновскими зубами, седлообразным нёбом, маленькою головою, особою нервною возбудимостью и нечувствительностью к внешним страданиям, с его привычкою грызть ногти и с склонностью к татуировке, с оригинальным почерком и ослабленными подошвенными рефлексами и т. д.—нужна переоценка как понятия о вменении преступлений, так и процессуальных целей и приемов. Очевидно, что суду юристов, с его теоретическими хитросплетениями и операциями *in anima vili*, и суду присяжных, совершенно чуждых всякому понятию об антропологии,—нет уже места в деле общественной самозащиты. Их должен заменить суд врачей-специалистов, для которого, по самому его существу, не нужны



---

гласность, защита, обжалование, возможность помилования. Это все шаткие условия *искания* истины в деле, а не положительного и твердого *знания* о ней, даваемого наукой. Последняя движется, открывая горизонты разуму, не волнуя совесть и спокойно взвешивая действительность в ее реальном проявлении, а не мнимом понимании, не ведая ни ненависти, ни жалости, ни любви. Где другие сомневаются—она уверена. К чему же здесь пафос адвоката, критика общественного мнения, прощение того, что не прощено самою природой? Для такого научного суда преступление есть лишь *повод* заняться определением опасности преступника для общества. Выяснив достоверную, антропологически-доказанную *возможность* совершения им в будущем деяний, из категории тех, за которое он судится, суд назначит ему затем срочное или пожизненное заключение или, в случаях особой вредоносности, вовсе „устранит“ его из жизни. Вторгаться в исследование внутреннего мира и душевного склада таких подсудимых совершенно излишне. С представителями „преступного типа“ следует бороться как с хищными зверями, как с бактериями в общественном организме, пресекая в их лице опасную прогенитуру и тем, по выражению одного из новейших криминологов, „очищая породу и облагораживая сердца“.

Так, начавшись с заботы о живом человеке, заданном безжизненными уголовными формулами, эта переоценка, путем далеко не проверенных положений и крайних обобщений, дошла до низведения карательной деятельности государства к охоте на человека с применением научных приемов антропометрии. Логиче-

---

ские результаты такой переоценки, ставящей, вследствие возможности вырождения некоторых виновных, и всех остальных в положение стихийной силы, идут в разрез с нравственными задачами государства и с человеческим достоинством.

Пример такой же поспешной переоценки представляют вторгшиеся в область учения о вменении смутные и расплывчатые понятия о *неврастении* и *психопатии*. Исходя из недостаточности старых и так сказать казенных понятий о сумасшествии и безумии, давно опереженных жизнью, мы впали в другую крайность. Практические юристы в России были, в два последних десятилетия прошлого века, свидетелями почти систематического объяснения естественных страстей человека, как проявлений *болезни воли*, при чем лишь бесплотные небожители или, наоборот, грубо прозябающие и чуждые всяких сильных душевных движений существа могли оказаться свободными от почетного звания „неврастеника“ или „психопата“. Негодование, гнев и ревность, сострадание к животным и жалость к людям, склонность к сомнениям и стремление к опрятности в своих резких проявлениях стали признаваться несомненными признаками болезненного истощения нервов и носить громкие названия разных „фобий“. Понятие о психопатии, как *болезни характера*, далеко вышло за пределы того, что английские врачи называли „moral insanity“, и разлилось, в своем практическом применении, таким безбрежным потоком, что самим психиатрам пришлось работать над тем, чтобы направить его в русло ясно очерченных душевных недугов и регулировать его разлив.

В последнее время в области уголовной антропологии предприняты настойчивые попытки еще одной переоценки, поспешной, произвольной и вовсе не основанной на требованиях нормальной жизни. Они направлены на проявление так называемого „уранизма“ и выражаются в отрицании необходимости общественного осуждения уранизма и применения карательной деятельности государства в некоторых особо резких его случаях вообще. Не по дням, а по часам растет литература, требующая, с поднятым забралом, оправдания противных природе похотей и внушаемых ими безнравственных действий. Действия эти, согласно, новому учению, не могут быть вменяемы, будучи законными проявлениями естественных свойств человеческой природы, не знающей того исключительного разделения на два пола, которое доселе признавалось законодательством за аксиому. Для тех же, кому не по вкусу *такое* основание переоценки, предлагается услужливая теория половой психопатии, заменяющей то, что прежде отсталость и невежество привыкли называть распушенностью и развратом. На одном из последних уголовно-антропологических конгрессов в Амстердаме профессор Аллетрино, убежденный и горячий защитник предоставления уранизму „непостыдного и мирного жития“, поставил вопрос ребром. Дозволительно, однако, думать, что завершение такой переоценки человеческих отношений наступит еще не скоро и что еще не близко время, когда скрывавшийся втайне порок, перешагнув чрез народное понятие о *грехе* и чрез чувство *стыда*, с гордо поднятым челом опрокинет последнюю преграду свободе своих вожелений—*страх* общественного осуждения.

Еще ближе, чем уголовное право и судоустройство, еще, если можно так выразиться, острее соприкасается с жизнью и ее вечно новыми запросами *уголовный процесс*. Поэтому в нем „переоценка“ неминуемо совершалась чаще, хотя, быть может, в меньшем объеме и не столь коренным образом. Эта переоценка всегда направлялась на критику и изменение необходимых приемов действия судьи и вытекающих из них условий его деятельности. Под влиянием ее совершился переход от *свободы внутреннего убеждения* древнего народного судьи к внешней задаче судьи феодального, характеризующейся отсутствием и *ненужностью внутреннего убеждения*, так как решение вопроса о вине и невиновности было отдано на „суд Божий“, указывающий виновного посредством результата *ордалии* или *поля*... Затем, очищенная влиянием церкви от воззрений феодального времени, система доказательств свелась к показаниям — и прежде всего к собственному сознанию и оговору. Для получения собственного сознания, этого „лучшего доказательства всего света“, стала применяться пытка — и дело решалось не совестью судьи, а физической выносливостью подвергаемого пытке. Но с движением человечества вперед главную цену приобретают формальные, предустановленные доказательства. Система этих доказательств, сводящая задачу судьи к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены — знаменует собою период *связанности внутреннего убеждения* судьи. Но вот наступает новая переоценка прав и размеров судейского убеждения и оно принимает свой современный объем, распространяясь на все роды доказательств

---

и свободно взвешивая внутреннее достоинство каждого из них. Вместе с тем вырабатывается судебную практику и законодательством ряд правил, обеспечивающих получение доказательств в возможно чистом виде, без посторонних примесей, коренящихся в физической или нравственной природе их источника. Вещественные доказательства—плоды, орудия и следы преступления—охраняются от порчи, тщательно описываются, фотографируются, соблюдаются по возможности в таком виде, в котором они наиболее соответствуют действительности. Особенное внимание обращается на чистоту источника главного из доказательств, которое прямо или косвенно (в качестве улики) по большей части имеет решающее значение для выработки судейского убеждения, выражающегося в приговоре. Это доказательство—*свидетельское показание*.

Как всякое доказательство—оно должно быть добыто в таком виде и в такой обстановке, которые устраняли бы мысль о его подделке или о получении его вымогательством. О насилии личном со стороны органов правосудия при гласном разбирательстве в новом суде почти не может быть и речи, кроме исключительных случаев вопиющего злоупотребления властью, но возможно насилие или воздействие нравственное, составляющее особый вид психического принуждения. Как всякое такое принуждение оно может состоять в возбуждении страха, надежд или желаний получить выгоду и выражаться в угрозах, обольщениях и обещаниях. К ним может быть присоединено душевное томление или искусственно вызываемые усталость и сознание беспомощности. Закон, категорически воспрещавший



---

помогаться сознания обвиняемого путем психического вымогательства (ст. 405 У. У. С.), должен всецело применяться и к свидетелям. Допрос их должен производиться умело, с соблюдением строго определенных приемов и без всякой тени стремления добиться того или другого результата показания. Отсюда воспрещение прочтения перед судом показаний, данных при полицейском розыске или негласном расспросе и занесенных в акты дознания.

Закон сознает, однако, что отсутствие злоупотреблений со стороны *допрашивающих* свидетеля недостаточно. В *самом свидетеле* могут заключаться элементы, отклоняющие его показание от истины, замутняющие и искажающие его строго фактический источник. Отсюда стремление очистить показания свидетелей от влияния дружбы, вражды и страха, от обстоятельств посторонних и слухов, неизвестно откуда исходящих (ст. 717 и 718 У. У. С.)—и устранение от свидетельства душевнобольных и тех, кто при даче показания может стать в тягостное и неразрешимое противоречие со своим служебным или общественным долгом (священники по отношению к открытому на исповеди,—защитники по отношению к признанию, сделанному им доверителями). Отсюда предоставление отказа от показания близким родственникам подсудимого—и, во всяком случае, допрос их без присяги; отсюда, наконец, обставленная карательными гарантиями присяга свидетелей перед дачею показаний (а в Германии, в некоторых случаях, после дачи их) в торжественной обстановке, способствующей сосредоточению внимания на том, о чем придется говорить, при чем закон тщательно профиль-



---

тровывает свидетелей по их личным отношениям и по пониманию ими святости совершаемого обряда, оставляя *по сю сторону присяги* целый ряд лиц, в достоверности показаний которых можно усомниться или высказано сомнение одною из сторон. Только пройдя это, так сказать, предохранительное испытание для соблюдения внешней достоверности, показание свидетеля предъявляется суду. Но и здесь, с одной стороны, свидетель вновь ограждается от тревоги и смущения разрешением ему не отвечать на вопросы, клонящиеся к его собственному обвинению, а с другой — показание его относительно полноты и точности содержания подвергается тщательной проверке, а во многих случаях и выработке путем выяснения встреченных в нем противоречий с прежним показанием и, в особенности, путем *перекрестного допроса*.

Данное в *этих условиях*, полученное и обработанное *таким образом*, свидетельское показание поступает в материал, подлежащий судебскому рассмотрению и оценке. Над ним начинается работа логических сопоставлений и выводов, психологического анализа, юридического навыка и житейского опыта, и оно укладывается, как кусочек мозаики, как составная частица в картину виновности или невиновности подсудимого. Несомненно, что критический анализ судьи должен быть направлен на все стороны этого показания, определяя, в последовательном порядке, его относимость к делу, как доказательства, его пригодность для того или другого вывода, его полноту, правдоподобность, искренность и, наконец, достоверность.

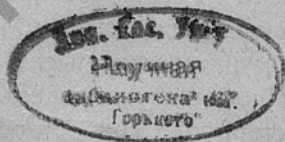
Но и после всей этой поверочной работы в показании свидетеля, даваемом при существующих условиях,

↓  
2/1  
остается свойство, делающее его подчас, несмотря ни на что и вопреки всему, в значительной степени недостоверным. Самое добросовестное показание, данное с горячим желанием показать одну правду и при том всю правду—основывается на усилии *памяти*, рисующей и передающей то, на что было обращено, в свое время, свидетелем свое *внимание*. Но внимание есть орудие для восприятия весьма не совершенное, а память с течением времени искажает запечатленные вниманием образы и дает им иногда совершенно выцвести. Внимание обращается не на все то, что следовало бы, в будущем, помнить свидетелю, а память по большей части слабо удерживает и то, на что было обращено неполное и недостаточное внимание. Эта своего рода „усышка и утечка“ памяти вызывает ее на бессознательное восстановление образующихся пробелов—и таким образом, мало-по-малу, в передачу виденного и слышанного прокрадываются вымысел и самообман. Таким образом, внутри почти каждого свидетельского показания есть своего рода язва, отравляющая поне-много весь организм показания, не только против воли, но и без сознания самого свидетеля. Вот с каким материалом приходится судье иметь дело...

Большая часть серьезных обвинений построена на косвенных уликах, т.е. на доказанных обстоятельствах того, что еще надо доказать. Но можно ли считать *доказанным* такое обстоятельство, повествование о котором испорчено и в источнике (внимание) и в дальнейшем своем движении (память)? Согласно ли с правосудием принимать такое показание, полагаясь только на внешние процессуальные гарантии и на добрые

намерения свидетеля послужить выяснению истины? Не следует ли подвергнуть тщательной проверке и степень развития внимания свидетеля и выносливость его памяти?—и лишь узнав, с какими вниманием и памятью мы имеем дело, вдуматься в сущность и в подробности даваемого этим свидетелем показания, от которого иногда всецело зависит справедливость приговора и судьба подсудимого...

Таковы вопросы, лежащие в основании предлагаемой в последнее время представителями экспериментальной психологии переоценки стоимости свидетельских показаний.



## II.

Экспериментальная психология наука новая и в высшей степени интересная. Если и считать ее отдаленным началом берлинскую речь Гербарта „о возможности и необходимости применения в психологии математики“, произнесенную в 1822 году, то, во всяком случае, серьезного и дружного развития она достигла лишь в последней четверти прошлого столетия. Молодости свойственна уверенность в своих силах и нередко непосильная широта задач. От этих завидных свойств не свободна и экспериментальная психология, считающая что труднейшие из вопросов права, науки о воспитании и учения о душевных болезнях, не говоря уже о психологии в самом широком смысле слова, могут быть разрешены при помощи указываемых ею приемов и способов. Но „старость ходит осторожно—и подозрительно глядит“. Эта старость, т.е. вековое изучение явлений жизни в связи с задачами философского мышления, не спешит присоединиться к победным кликам новой науки. Она сомневается, чтобы сложные процессы душевной жизни могли быть выяснены опытами в физиологических лабораториях и чтобы уже настало время для вывода на прочных основаниях общих научных законов даже для простейших явлений этой жизни.

Тем не менее, нельзя не быть благодарным представителям экспериментальной психологии за поднятый ими вопрос о новой оценке свидетельских показаний. Благодаря отзывчивому отношению юридических обществ к новым течениям в правовой и процессуальной сфере, последние труды в этом направлении были разъяснены весьма подробно и надо надеяться, что вопрос о психологии свидетельских показаний не заглухнет среди юристов, а будет подвергнут, в совместном труде с опытными психологами, дальнейшей разработке. Настоящие заметки имеют целью представить некоторый разбор оснований той переоценки, на необходимость которой указывают труды и опыты профессоров: Листа, Штерна („Zur Psychologie des Aussage“), Врешнера (тоже) и доклад на гиссенском конгрессе экспериментальной психологии г-жи Борст („О вычислении ошибок в психологии показаний“).

Неточность свидетельских показаний вследствие ослабления памяти или недостаточности внимания, или того и другого вместе, давно уже была предметом указаний английских юристов, занимавшихся изучением теории улик и доказательств. Бест, Уильз и, в особенности, Бентам не раз обращались к анализу этого явления. Последний посвятил ему особую главу своего трактата „о судебных доказательствах“. Он находил, что неточность показаний вызывается ослаблением памяти, вследствие отсутствия живости в восприятии сознанием своего отношения к факту и под влиянием времени, заменяющего, незаметно для свидетеля, подлинное воспоминание кажущимся, при чем ложное обстоятельство заменяет настоящее впечатление. Он указывал также



на то, что огромное значение для уклонения показаний от истины имеют работа воображения и несоответствие (неточность, неумелость) способа изложения. Поэтому уже и Бентам требовал математических приемов в оценке и классификации показаний, восклицая: „неужели правосудие требует менее [точности, нежели химия?!“ Но в дальнейшем своем стремлении установить строгий и непоколебимый масштаб для определения ценности доказательств и вытекающего из них внутреннего убеждения, он дошел до такой неприемлемой крайности, как изобретение особой скалы, имеющей положительную и отрицательную стороны, разделенные на десять градусов, обозначающих *степени* подтверждения и отрицания одного и того же обстоятельства, при чем степень уверенности свидетеля в том, о чем он показывает, должна обозначаться им самим посредством указания на градус этой оригинальной Бентамовской лестницы...

Экспериментальная психология употребляет много-различные способы для выяснения вопросов, касающихся *объема*, продолжительности и точности памяти. Существуют методы исследования памяти путем возбуждения ее к *сравнению*, к *описанию*, к *распознаванию*. В применении к людям, — разделяемым по отношению к свойствам своего внимания на таких, у которых более развито *слуховое* внимание или *зрительное* внимание, — эти методы дают очень интересные результаты, доказывающие связь душевных процессов с деятельностью нервной системы и мозга. В расширении этой области наших знаний несомненная заслуга экспериментальной психологии.



Некоторые новейшие работы (напр. Гольдовского) в этом отношении представляют широкую картину практического применения психологического опыта к явлениям, тесно связанным с отправлением правосудия. Таковы, например, выводы о постепенном замедлении потери впечатлений, нарастающей не пропорционально времени; о способности женщин меньше *забывать*, но *больше ошибаться*; о соотношении пропусков в показаниях к *прибавкам* и к *превращениям* (искажениям); о влиянии „наводящих“ вопросов суда. Они очень ценны, и даже весьма поучительны для каждого добросовестного и вдумчивого судьи. Но едва ли все эти подробные исследования и интересные сами по себе опыты должны изменить что-либо в ходе и устройстве современного, уголовного по преимуществу, процесса. Такое сомнение возникает и с точки зрения судопроизводства и с точки зрения судоустройства.

В *первом отношении* прежде всего рождается вопрос: одно ли и то же показание свидетеля на суде и отчет человека, рассматривавшего в течение  $\frac{3}{4}$  минуты показанную ему согласно приему экспериментальной психологии картинку с изображением спокойно-бесцветной сцены из ежедневной жизни? Одно ли и то же — взглядеться с безразличным чувством и искусственно направленным вниманием в изображение того, как художник переезжает на новую квартиру и мирная бюргерская семья завтракает, выехав „in's Grüne“, и затем отдаться „злобе дня“, забыв и про картину, и про опыты Штерна — или быть свидетелем обстоятельства, связанного с необычным деянием, нарушающим мирное течение жизни и при том не на сцене, а в окружающей

действительности и быть призванным вспомнить о нем, зная о возможных последствиях своих слов при дознании, у следователя и на суде, идя в который каждый невольно проверяет себя? Преступление изменяет *статистику* сложившейся жизни: оно перемещает или истребляет предметы обладания, прекращает или искажает то или другое существование, разрушает на время уклад определенных общественных отношений и т. д. По большей части для установления этого существует объективные, фактические признаки, не нуждающиеся в дальнейших доказательствах свидетельскими показаниями. Но в преступлении есть и *динамика*:—действия обвиняемого, занятое им положение, его деятельность *до и по* совершении того, что нарушило статистику. Здесь свидетели играют, по большей части, огромную роль и их прикосновенность к обстоятельствам, в которых выразилась динамика преступления, вызывает особую *сосредоточенность внимания*, запечатлевающую в памяти образы и звуки с особою яркостью. Этого не в силах достичь никакая картина, если она не изображает чего-либо потрясающего и оставляющего глубокий след в душе, в роде „Петра и Алексея“—Ге, „Княжны Таракановой“—Флавицкого или „Ивана Грозного“—Репина. Да и тут—отсутствие личного отношения к изображенному и сознание, что это, как говорят дети, „не завсамделе“, должны быстро ослаблять интенсивность впечатления и стирать мелкие подробности виденного.

Но показывание картинок—только первый шаг на пути изучения способов избежания неточных показаний—говорят нам. В будущем должно возобладать сознание, что воспоминание есть не только способность пред-

---

ставления, но и акт воли — и тогда, для устранения ошибок не только в устах свидетелей, но и на страницах мемуаров и исторических воспоминаний, создастся нравственная мнемотехника и в школах будет введено „преподавание о воспоминании“. Однако уже и теперь желательнее, чтобы относительно особо важных свидетелей допускалась психологическая проверка степени достоверности их показаний особым экспертом, лучше всего юристом-психологом, который может дать этим показаниям необходимый коэффициент поправок. Но что такое *особо важный свидетель*? Очевидно тот, кто может дать показание об особо важных, по своему уличающему или оправдывающему значению, обстоятельствах. Такие обстоятельства, в виде прямых доказательств, встречаются, однако, сравнительно редко и устанавливаются обыкновенно совершенно объективным способом. Гораздо важнее улики. Но как выбрать между уликами, — „qui sont des faits placés autour de quelque autre fait“, как говорит Боннье, — могущими лишь в своей совокупности и известном сочетании перестать быть „ein Nebenumstand“ и установить известный факт, имеющий прямое отношение к составу преступления? Как отделить особо важные от менее важных? Судебная практика представляет множество случаев, где повидимому пустое и незначительное обстоятельство сразу склоняло весы в ту или другую сторону потому, что оно, иногда совершенно непредвиденно, замыкало собою цепь оправдательных или обвинительных соображений, слагавшихся среди сомнений и колебаний. Кто может, затем, определить, что тот или другой свидетель должен быть подвергнут психологической экспертизе? Суд, во время

заседания, когда выяснится важность обстоятельства, о котором дает или имеет дать показание свидетель? Но тогда вся предшествующая работа суда и присяжных заседателей должна быть прервана и, по условиям места и времени, начата снова лишь по окончании экспертизы, которая по рецептам Штерна и Врешнера должна длиться по крайней мере около месяца. Не будут ли в данном случае „les lenteurs salutaires de justice“ отягощением участи подсудимого, или не надо ли и ему, независимо от состава суда, предоставить право требовать такой экспертизы или, наоборот, просить суд ее не делать? *Следовательно?* Но при правильном производстве следствия и надлежащей организации следственных сил, допрос свидетелей должен наступать невольно после совершения преступления, когда память их меньше нуждается в исследовании, чем на суде, где в сущности *впервые* разрабатывается вопрос уже не об основательности данных для производства уголовного исследования, а о *достоверности* собранных улик и доказательств. Да и где взять многочисленным следователям такое количество экспертов-психологов? И не будет ли возможность такой экспертизы оправданием малой заботливости об отыскании, делаемом теперь, *других данных* для проверки испытания удельного веса свидетельского показания? И, вообще, при невозможности часто прибегать к такой экспертизе — не обратится ли она в принадлежность лишь особо важных, нашумевших дел? Но для истинного правосудия не должно быть особо важных дел; все дела пред судом одинаково равны и важны, ибо в каждом одна и та же задача, одни и те же общественные интересы и

влияние на судьбу подсудимого. Вся разница лишь в количестве труда и сил, потребных для их рассмотрения. Смотреть иначе — и создавать привилегированные дела — значит допускать губительное вторжение политических соображений в безпристрастное отправление правосудия. Наконец, — действительно ли так многозначительна подобная экспертиза, создающая, к слову сказать, для некоторых доказательств своего рода предустановленность *ad hoc*, при чем, в сущности, показания свидетеля, пройдя чрез психологическую редакцию и цензуру эксперта, утратят свою непосредственность? Психологическое исследование *лжи* будет, вероятно, бессильно, ибо сознательный лжец не представит никаких пробелов памяти относительно того, что он измыслил в медленной работе изменных побуждений или в назревшем желании спасти близкого или дорогого человека. Очные ставки свидетелей между собою лучше всего это показывают. *Лжец* всегда твердо стоит на своем, а *правдивец* под конец начинает обыкновенно путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в правде своих слов. Поэтому едва ли суду придется часто присутствовать при психологическом удостоверении *перевирания* свидетелем своей первоначальной лжи — и задача экспертизы сведется лишь к указанию на возможность, по условиям памяти свидетеля, неточности показания, добросовестно им считаемого правдивым. Но для этого есть более доступные, простые и свойственные самой природе судейской самодеятельности средства.

Во *втором отношении* — с точки зрения *судоустройства* — признание допустимости и даже существенной



---

необходимости экспертизы внимания и памяти связано, выражаясь официальным языком, с „колебанием основ“, как суда вообще, так и суда присяжных в частности. Свидетельские показания дают материал для внутреннего судьи. Когда их много — судья не только должен воспринять их с должным вниманием, но и отпечатлеть в своей памяти на довольно долгий срок, в течение которого ему предстоит облечь сложившееся у него убеждение в резолюцию и затем мотивировать эту резолюцию ссылкой на доказательства и оценкою их. Работа судьи в этом смысле уменьшается, когда он действует с присяжными, но за то председательствующий судья обязан в своем руководящем напутствии изложить существенные обстоятельства дела, устранив неправильные толкования сторон, и преподать общие юридические основания к суждению о силе доказательств, представленных по делу сторонами. При этом, ему, конечно, приходится касаться свидетельских показаний и речей сторон, являясь, так сказать, свидетелем этих показаний и этих речей. Это обязанность нелегкая, требующая особого напряжения внимания и памяти. Про то знает всякий, кто вел большие, длящиеся иногда две и три недели, дела с участием присяжных. Что же сказать про такие дела, как напр., дело о злоупотреблениях в Таганрогской таможне, длившееся 36 дней и по которому на решение присяжных было поставлено более 1,000 вопросов, — или дело Тичборна в Лондоне, продолжавшееся девять месяцев, при чем заключительное слово председателя одно заняло шесть недель! Кроме того, согласно смыслу ст. 246 Германского Устава Угол. Судопр. и ст. 729 нашего, — председатель обязан уда-



---

ленному на время из залы заседания подсудимому объяснить „с точностью существенное содержание“ того, что высказано или произошло в его отсутствие. Иными словами—он должен передать ему сущность заявлений сторон и содержание свидетельских показаний, т.-е. сам выступить в роли свидетеля происходившего в его присутствии. Но если показанию свидетеля можно доверять, только проверив степень его внимания и силу его памяти, то почему же оставлять без проверки эти же самые свойства у судей, память которых обречена удерживать в себе правдивый образ неизмеримо большего количества обстоятельств. Если рассказ свидетеля о слышанном и виденном может, незаведомо для него, передавать то и другое в искаженном или неверном виде, то насколько же больших гарантий требует *рассказ судей* о том, что им пришлось выслушать, излагаемый в форме исторической и аналитической части приговора? Не придется ли неизбежно спросить — *et quis custodit custodes ipsos?*

Если, однако, можно сказать, что у судей есть служебный опыт и навык, что их ум изошрен к восприятию впечатлений ежедневно разворачивающейся пред ними житейской драмы и что, поэтому, образы, вытекающие из показаний свидетелей и объяснений подсудимого и сторон, могут врезываться в их память прочными и верными чертами, то этого нельзя сказать про присяжных заседателей. Они, почерпнутые ковшом из моря житейского, стоят по отношению к происходящему пред ними по большей части не более вооруженные со стороны памяти, чем и простые свидетели — и если присяга, с одной стороны, и побуждает их к особому вни-

---

манию, то, с другой стороны, утомление, нервная напряженность, забота о делах и семье, от которых они отрезаны, — не могут не ослаблять этого внимания, а продолжительные заседания должны действовать на них еще более подавляющим образом, чем на судей. Поэтому там, где экспериментальная психология с требованием указываемых ею опытов настойчиво и авторитетно выступает на замену совокупной работы здравого рассудка присяжных, знания ими жизни и простого совестливого отношения к своим обязанностям — там можно сказать суду присяжных, что его песенка спета. Да и вообще, не последовательнее было бы в таком случае преобразовать суд согласно мечтаниям криминальной психологии, заменив и профессиональных, и выборных общественных судей смешанною коллегиею из врачей, психиатров, антропологов и психологов предоставив тем, кто ныне носит незаслуженное имя судей, лишь формулировку мнения этой коллегии.

Нечто подобное предлагал уже несколько лет назад Венский профессор Бенедикт, согласно мнению которого государству приходится иметь дело с тремя родами преступников: прирожденными (агенератами), неправильно развившимися лично или под влиянием среды (дегенератами) и случайными (эгенератами), при чем суду над теми из них, которые оказываются неисправимыми, т.-е. агенератами и над большею частью дегенератов должен быть придан характер особой коллегии из врачей лишь с примесью судейского элемента. Эта коллегия, предусмотрительно составленная из двух инстанций, с периодическим пересмотром всех ее приговоров, должна каждый раз разрешать формулу:

---

$X=M+N+N^1+E+O$ , причем  $M$  обозначает совокупные условия и свойства организма подсудимого,  $N$ —его врожденные свойства,  $N^1$ —его приобретенные склонности,  $E$ —внешние на него влияния, его среду и обстановку и  $O$ —случайные влияния и возбуждения. Этот же суд учреждает и своеобразную „усиленную опеку“ над лицами, еще не совершившими преступных деяний, но однако же, по своим склонностям, способными их совершить.

Думается однако, что суд присяжных, переживший повсюду „месть врагов и клевету друзей“, переживет и новую, грозящую ему, теоретическую опасность и останется еще надолго не только органом, но и школой общественного правосудия...

Нельзя, однако, огульно отрицать все поправки в уголовном процессе, предлагаемые с целью внести более близкое и глубокое изучение самого важного обстоятельства в каждом уголовном деле, т.е. *самого обвиняемого*. Чем шире в этом отношении будет исследование душевных свойств и умственного состояния человека, тем лучше. Правосудие ничего от этого не проиграет, а общественная совесть только выиграет. Таково, например *медико-психологическое* изучение обвиняемого, которому посвящен труд профессора Л. Е. Владимирова: „Психологическое исследование в уголовном суде“. Доказывая, что целям уголовного правосудия удовлетворяет не художественное или философски-психологическое исследование, а лишь *медико-психологическое*, автор предлагает подвергать последнему каждого обвиняемого в деянии, влекущем тюремное заключение и более строгие наказания. Это исследование даст воз-

---

возможность своевременно подметить признаки душевной болезни или уменьшенной вменяемости и откроет объективные данные для ознакомления с душевным миром обвиняемого, личность которого подлежит обсуждению всецело, а не по одному, вырванному из его жизни, поступку. С другой стороны нельзя не разделить высказываемого некоторыми взгляда, что судебные деятели по предварительному исследованию преступлений и рассмотрению уголовных дел на суде должны иметь твердую почву сознательного отношения к доказательствам, среди которых главнейшее, а в большинстве случаев и исключительное, место занимают показания свидетелей, для чего в круг преподавания на юридическом факультете должны быть введены психология и психопатология. Осуществление этого взгляда на практике желательно уже по одному тому, что чем разностороннее образован судья, тем менее предстоит ему опасность впасть в рутину и самодовольно успокоиться на аккуратности механического отправления службы без всякого признака „святого безпокойства“ о правде в порученном ему деле. Собственно говоря, психопатология должна входить в курс судебной медицины, как составная его часть; что же касается особого курса психологии, то именно в нем было бы на месте применение и изучение экспериментальной психологии, как доказывающей наглядно, между прочим, и аберрации памяти. Пусть вооруженный этими знаниями и руководящими указаниями науки входит молодой юрист в жизнь и обращается, в свое время, к судебной деятельности! Если он любит свое дело, если он приступает к исполнению обязанностей судьи с сознанием их возвы-

---

шенного значения и своей нравственной ответственности—он усилит свои теоретические познания вдумчивою наблюдательностью и выработает в себе навык в распознавании свойств свидетелей и умение делиться своим опытом в слове и на деле с присяжными заседателями.

СПбГУ



### III.

Среди *общих свойств* свидетелей, которые отражаются не только на восприятии ими впечатлений, но, по справедливому замечанию Бентама, и на способе передачи последних, видное место занимает, *во первых* — *темперамент* свидетеля. Сочинение Фулье „О темпераменте и характере“ снова выдвинуло вперед учение о темпераментах, и дало физиологическую основу блестящей характеристике, сделанной Кантом, который различал два темперамента чувств (сангвинический и меланхолической) и два темперамента деятельности (холе-рический и флегматический). Для опытного глаза, для житейской наблюдательности — эти различные темпераменты и вызываемые ими настроения обнаруживаются очень скоро во всем: в жесте, тоне голоса, манере говорить, способе держать себя на суде. А зная типическое настроение, свойственное тому и другому темпераменту, представляется возможным представить себе и отношение свидетеля к обстоятельствам, им описываемым, и понять, *почему* и *какие* именно стороны в этих обстоятельствах должны были привлечь его внимание и остаться в его памяти, когда многое другое из нее улетучилось.

---

Для характеристики влияния темперамента на показание, т.-е. на рассказ о том, как отнесся свидетель к тому или другому явлению или событию, можно, в виде примера, представить себе отношение обладателей разных темпераментов к одному и тому же происшествию. Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причинил ей тяжкие повреждения или, быть может, самую смерть, вследствие того, что она не обратила внимания на предупредительный звонок, или что таковой раздался слишком поздно. *Сангвиник* волнуясь скажет: это была ужасная картина — раздался раздирающий крик, — хлынула кровь, — мне послышался даже треск ломаемых костей эта картина стоит пред моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа“. *Меланхолик* скажет: „при мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот людская судьба: быть [может она спешила к любящему мужу, к любимым детям, под семейный кров—и все разбито, уничтожено,—остались слезы и скорбь о невозвратной потере—и картина осиротелой семьи с болью возникает в моей душе. *Холерик*, негодуя, скажет: „раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управление трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать звонить, и предупредить тем рассеянного или тупого на ухо прохожего. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить“. — *А флегматик* расскажет: „ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа народа, что то смотрят; я привстал в пролетке и вижу—лежит какая-то женщина поперек рельсов,—вероятно наехали и раздавили. Я сел на свое место и сказал извозчику: пошел скорее!“.

Во *вторых*, в оценке показания играет большую роль *пол* свидетеля. И при психологических опытах Штерна и Врешнера замечена разница между степенью внимания и памяти у мужчин и женщин. Достаточно обратиться к серьезному труду Гевлок Эллисса „О вторичных половых признаках у человека“, к интересному и содержательному исследованию Астафьева „Психический мир женщины“, к исследованиям Ломброзо и Бартельса, и к богатой литературе о самоубийствах, чтобы видеть, что чувствительность к боли, обоняние, слух и в значительной степени зрение у мужчин выше, чем у женщин, и что, наоборот, любовь к жизни, выносливость, вкус и вазомоторная возбудимость у женщин выше. Вместе с тем, по справедливому замечанию Астафьева, у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин развита потребность видеть конечные результаты своих деяний и гораздо менее развита способность к сомнению, причем доказательства их уверенности в том или другом более оцениваются чувством, чем анализом. Отсюда преобладание впечатлительности перед сознательною работою внимания, соответственно ускоренному ритму душевной жизни женщины. Наконец, интересными опытами Мак Дугалля установлено, что мужчинам *время* кажется длиннее действительного на 35<sup>0</sup>%, женщинам же на 111<sup>0</sup>%, а время играет такую важную роль в показаниях. В каждом из этих свойств содержатся и основания к оценке достоверности показания свидетелей, а также и потерпевших от преступления, которые часто подлежат допросу в качестве свидетелей.

*В третьих*—*возраст* свидетеля влияет на его показание, особенно если оно не касается чего-либо вы-

---

дающегося. Внимание детей распространяется на ограниченный круг предметов, но детская память удерживает иногда некоторые подробности с большим упорством. Детские воспоминания обыкновенно обратно пропорциональны—как и следует—протекшему времени, т. е. ближайшие факты помнятся детьми сильнее отдаленных. Наоборот память стариков слабеет относительно ближайших обстоятельств и отчетливо сохраняет воспоминание отдаленных лет юности и даже детства. Многие старики с большим трудом могут припомнить, где они были, кого и где видели накануне или несколько дней назад и отчетливо, с подробностью, способны рассказать о том, что им пришлось видеть или пережить десятки лет назад.

В четвертых большой осторожности при оценке показаний требует *поведение свидетеля* на суде, отражающееся на способе передачи им своих воспоминаний. Замешательство его еще не доказывает желания скрыть истину из боязни быть изобличенным во лжи,—улыбка и даже смех при даче показания о вовсе не вызывающих веселости обстоятельствах еще не служат признаком легкомысленного отношения его к своей обязанности свидетельствовать правду,—наконец, нелепые заключения, выводимые свидетелем из рассказанных им фактов, еще не указывают на недостоверность этих фактов. Свидетель может страдать *навязчивыми состояниями без навязчивых идей*. Он может быть не в состоянии удержаться от произвольной и неуместной улыбки, от судорожного смеха (*risus sardonicus*), от боязни покраснеть, под влиянием которой кровь бросается ему в лицо и уши. Эти состояния подробно

---

описаны академиком В. И. Бехтеревым. Надо в этих случаях слушать, *что* говорит свидетель, совершенно исключая из оценки сказанного *то, чем оно сопровождалось*. Свидетель может быть глуп от природы, а, по справедливому мнению покойного Токарского, глупость отличается от ума лишь количественно, а не качественно — глупец прежде всего является *свободным от сомнений*. Но глупость надо отличать от *своеобразности*, которая тоже может отразиться на показании.

В *пятых*, наконец, некоторые *физические недостатки*, делая показание свидетеля односторонним, в то же время, так сказать, обостряют его достоверность в известном отношении. Так, например, известно, что у слепых чрезвычайно тонко развивается слух и осязание. Поэтому все, что воспринято ими этим путем, приобретает характер особой достоверности. Известный окулист в Лозанне Дюфур даже настаивает на необходимости иметь в числе служащих на быстроходных океанских пароходах одного или двух слепорожденных, которые, в виду крайнего развития своего слуха, могут, среди тумана или ночью, слышать приближение другого судна на громадном расстоянии. То же можно сказать и о более редких показаниях слепых, основанных на чувстве осязания, если только оно не обращается болезненно в *полиэстезию* (преувеличение числа ощущаемых предметов) или *макроэстезию* (преувеличение их объема). Кроме того исследования ослепшего окулиста Жавалья и Оршанского указывают на существование у слепых особого чувства, своеобразного и очень тонко развитого, — *чувства препятствий*, развивающегося независимо от осязания и помимо его, вследствие повышен-



---

ной чувствительности головной кожи. Когда это чувство будет вполне установлено, ему придется отводить видное место по отношению к *топографической* части показаний слепых.

Обращаясь от этих общих положений к тем *особенностям внимания*, в которых выражается разность личных свойств и духовного склада людей, можно отметить, в общих чертах, несколько характерных видов внимания, знакомых, конечно, всякому наблюдательному судье.

Отражаясь в рассказе о виденном и слышанном, внимание прежде всего может быть разделено на *сосредоточенное* и *рассеянное*. Внимание первого рода, в свою очередь, представляется или сведенным почти исключительно к собственной личности созерцателя или рассказчика, или же, наоборот, отрешенным от этой личности, которая в их передаче отходит на задний план. Есть люди, которые, о чем бы они ни думали, ни говорили, делают центром своих мыслей и представлений самих себя и проявляют это в своем изложении. Для них—сознательно или невольно—*все* имеет значение лишь постольку, поскольку и в чем оно *их* касается. Ничто из окружающего мира явлений не рассматривается ими иначе, как сквозь призму собственного *я*. От этого маловажные сами по себе факты приобретают в глазах таких людей иногда чрезвычайное значение, а события первостепенной важности представляются им лишь отрывочными строчками—„из хроники происшествий“. При этом житейский размер обстоятельства, на которое устремлено такое внимание, играет совершенно второстепенную роль. Важно лишь то, какое отношение имело оно к лич-

---

ности повествователя. Поэтому обладатель такого внимания нередко с большою подробностью и вкусом будет говорить о вздоре, действительно только его касающемся и лишь для него интересном,—будь то вопросы сна, удобства костюма, домашних привычек, тесноты обуви, сварения желудка и т. п.—чем о событиях общественной важности или исторического значения, которых ему пришлось быть свидетелем. Из рассказа его всегда ускользнет все общее, родовое, широкое в том, о чем он может свидетельствовать—и останется, твердо запечатленное в памяти, лишь то, что задело его непосредственно. В *эготической* памяти свидетеля, питаемой подобным, если можно так выразиться, *центристремительным* вниманием, напрасно искать более или менее подробной, или хотя бы только ясной картины происшедшего, или синтеза слышанного и виденного. Но зато она может сохранить иногда ценные, характеристические для личности самого свидетеля мелочи. Когда таких свидетелей несколько—судье приходится складывать свое представление о том или другом обстоятельстве из их показаний, постепенно приходя к уяснению себе всего случившегося. При этом необходимо бывает мысленно отделить картину того, что в действительности произошло на житейской сцене от эготической словоохотливости свидетелей. Надо заметить что рассказчики с *эготическою* памятью не любят выводов и обобщений и, в крайнем случае, наметив их слегка, спешат перейти к себе, к тому, что *они сами* пережили или ощутили. „Да! ужасное несчастье,—скажет, например, такой повествователь,—представьте себе, только-что хотел я войти, как вижу... ну, натурально,

я испугался, думаю, как бы *со мною*... да вспомнил, что ведь *я*... тогда *я* стал в сторонке, полагая, что, быть может, здесь *мне* безопаснее—и все *меня* так поразило, что, при *моей* впечатлительности, *мне* стало—и т. д. и т. д.“. У Анри Моннье есть типическое хотя, быть может, несколько карикатурное, изображение такого свидетеля, повествующего о железнодорожном крушении, сопровождавшемся человеческими жертвами. В двух-трех общих выражениях упомянув о самом несчастии, спасшийся пассажир подробно распространяется о том, как при этом он долго и тщетно разыскивал погивший зонтик, прекрасный и новый зонтик, только что купленный в Париже и по удивительно дешевой цене. Так в отчетах газет об убийстве министра Плеве был приводим рассказ очевидца, в котором повествование о том, как он уронив, перчатку, должен был сойти с извозчика, поднять ее и надеть—занимало не меньшее, если не большее место, чем описание взрыва, которого он был свидетелем. Несчастье, поразившее сразу ряд людей, обыкновенно дает много таких свидетелей. Все сводится у них к описанию борьбы личного чувства сомосохранения с внезапно надвинувшеюся опасностью—и этому описанию посвящается *все* показание, с забвением о многом, чего, *несомненно*, нельзя было не видеть или слышать. Таковы были почти все показания, данные на следствиях о крушении императорского поезда в Борках 17 октября 1888 г. и о крушении парохода „Владимир“ в августе 1884 г. на пути из Севастополя в Одессу. У нас, на Руси, под влиянием переживания скорбных представлений о судах, по которым можно было „затаскать человека“, очень часто

---

показанию придает эготический характер и пугливое отношение свидетеля к происходившему пред ним, сводящееся к желанию избежать *возможности* видеть и слышать то, о чем может прийти потом на суде показывать. Передача обстоятельств, по отношению к которым рассказчик старался *избежать* положения свидетеля, обращается незаметно для рассказчика, в передачу того, что он делал и думал, а не того, что делали и говорили „они“, или что случилось пред ним.

Прямую противоположность вниманию *центросформительному* представляет внимание, которое, употребляя те же термины из области физики, можно бы назвать *центробежным*. Оно стремится вникнуть в значение явления и, скользнув по его подробностям и мелочам, уяснить себе сразу смысл, важность и силу того или другого события. Человек, которому свойственно такое внимание, очень часто совершенно не думает об отношении тех или других обстоятельств лично к самому себе. Он легко и свободно переходит из положения наблюдателя в положение мыслителя по поводу созерцаемого или услышанного. Точно и верно, иногда с полнейшею объективностью, определив общие черты события, сами собою слагающиеся в известный вывод, такой свидетель, однако, затрудняется точно указать время происшествия, место, где он сам находился, свои собственные движения и даже слова. И этого нельзя приписывать простой рассеянности или недостаточной внимательности свидетеля в его обыкновенной, ежедневной жизни. Такие свидетели вовсе не люди „не от мира сего“. Где *все* просто и привычно,—внимание их равномерно направлено на это *все*,—где событие вы-

---

ходит из ряда обычных явлений жизни, где оно ярко по своей неожиданности или богато своими возможными последствиями, там живая работа мысли и чувства свидетеля выступает на первый план. Она упраздняет в нем на время способность сосредоточиваться на мелочах—и в памяти его *общее* подавляет *частное*,—*характер* события стирает его *подробности*. Опытный судья—по тону, по способу изложения всегда узнает такого свидетеля, которого „я“ стушевывается пред „они“ или „оно“. Он никогда не усомнится в правдивости показания только потому, что свидетель, умея вообще рассказать подробности скудного впечатления дня, затрудняется припомнить многое *лично о себе* по отношению ко дню, полному подавляющих своею силою впечатлений. „Этот человек лжет,—скажет поверхностный и поспешный наблюдатель,—он с точностью определяет, в котором часу дня и где именно он нанял извозчика, чтобы ехать с визитом к знакомым, и не может определенительно припомнить, от кого именно вечером в тот же день, в котором часу и в какой комнате услышал о самоубийстве сына или о трагической смерти жены...“— „Он говорит правду,—скажет опытный судья,—и эта правда тем вероятнее, чем больше различия между безразличным фактом и потрясающим событием, между обычным спокойствием после первого и ошеломляющим вихрем второго...“

Вниманием *рассеянным* можно назвать такое, которое не способно сосредоточиваться на одном предмете, а, направляясь на него, задевает по дороге ряд побочных обстоятельств. Смотря по свойствам наблюдающего и передающего свои впечатления, оно тоже может быть



---

или центробежным или центростремительным. При этом мысль и наблюдения никогда не движутся по прямой дороге, а заходят в переулки и закоулки, цепляясь за второстепенные данные, иногда вовсе не имеющие отношения к предмету, на который первоначально было направлено внимание. В частной жизни и в особенности в деловых сношениях нужно не мало терпения и терпимости к рассказчику, чтобы следить за ломанною линиею повествования, постоянно отклоняющегося в сторону, и, спокойно выслушивая массу ненужностей, сохранять нить Ариадны в лабиринте словесных отступлений и экскурсий по сторонам. Судье, сверх терпения и самообладания, необходимы в таких случаях, известные навык и искусство, чтобы направлять на надлежащий путь показание свидетеля, не смущая последнего и не замечая и без того неясную тропинку рассказа. Сюда относятся рассказчики и свидетели, любящие начинания „ab ovo“, передавать разные биографические подробности и вообще отдаваться в безотчетную и безграничную власть своих воспоминаний, причем *accidentialia*, *essentialia* и *eventualia* смешиваются в ходе их мышления в одну общую, бесформенную массу. Тип таких рассказчиков слишком известен и, к сожалению, распространен, чтобы нужно было выяснять его примерами. Но нельзя не указать на одну характерную в нашей русской жизни особенность. Это—любовь к генеалогическим справкам и семейственным эпизодам, одинаково тягостная и со стороны слушателя, в виде вопросов, и со стороны рассказчика, в виде ненужных подробностей. Взволнованный каким-нибудь выходящим из ряда событием, рассказчик, передавая о нем сжато и целостно по содержанию, вынужден бывает

назвать для точности те или другие имена. Горе ему, если в составе внимающих ему есть слушатель с рассеянным вниманием... Самое существенное место повествования, рисующее глубокий внутренний смысл события или его значение, как общественного явления, такой слушатель, среди общего напряженного внимания, способен прервать вопросами: „это какой NN? тот, что женат на М. М.“ или: „это ведь тот NN, который, кажется, служил в кирасирском полку?“ или: „а знаете, я ведь с этим NN ехал однажды на пароходе. Это ведь он женился на племяннице М. М., который управлял Казенной Палатой?—где только—не помню... ах, да! в Пензе или... нет, в Тамбове... Нет, нет!.. вспомнил!—именно в Пензе... а брат его...“ и т. д. Человек с таким рассеянным и направленным на мелкие, незначущие подробности вниманием, сделавшись сам повествователем, очень часто совершенно не отдает себе отчета, в чем сущность его рассказа и где лежит центр тяжести последнего. Обыкновенно умственно ограниченный, узко исполнительный в служебном или светском обиходе, но, вместе, чрезвычайно довольный собою, такой рассказчик присоединяет к уклонениям в сторону брачных и родственных связей и отношений еще особую пунктуальность названий и топографических подробностей. Для него, например, не существует просто фамилий или названий городов, а есть чины, имена, отчества и фамилии, нет Петербурга, Нижнего, „Исакия“, Синода, „конки“, а есть *Санкт-Петербург*, *Нижний-Новгород*, храм Исаакия Далматского, Святейший Правительствующий Синод, железно-конная дорога и т. д. Свидетели такого рода могут с первого взгляда поразить полнотою

---

и, так сказать, обточенностью своего показания. Но полнота это обыкновенно оказывается мнимой. Добросовестное усвоение себе частных, этих „выпущек и петличек“ свидетельского показания, рассеивает внимание по отношению к главному и единственному нужному. В старые годы, как видно из некоторых мемуаров, воспитанникам закрытых казенных учебных заведений, подавались пирожки, в которых под тонкою оболочкою пухлого теста почти не оказывалось начинки. „Пирожки с ничем“ прозвали их. Такими „пирожками с ничем“ являются нередко очень подробные и вполне корректные показания свидетелей, изоштившихся в упражнении рассеянной памяти. Опытный судья всегда предпочтет им неполное в частях, с пробелами и „запамятованиями“, показание свидетеля, чувствующего живо и в виду разноценности впечатлений различно на них и реагирующего.

Затем внимание может сосредоточиваться или *на процессе* действий, явлений и собственных мыслей или же на *конечном* их результате,—так сказать, на итоге их. Это чрезвычайно ярко выражается обыкновенно в способе изложения. Одни не могут передавать виденного и слышанного без подробного изложения всего в порядке последовательной постепенности; другие же, наоборот, спешат скорее сказать главное. При допросе первых—их зачастую приходится приглашать сократить свой рассказ; при допросе вторых—их приходится возвращать от итога рассказа к подробностям места, времени, обстановки и т. д. Делать это надо осторожно, особенно в первом случае, так как склонность к процессуальному рассказу обыкновенно обуславливается

---

еще и особыми свойствами или, правильнее, привычками внимания, которое цепко держится за последовательность и преемство впечатлений и, облекаясь в воспоминание, затуманивается, как только в эту последовательность вносится извне какой-либо перерыв. Эти особенности рассказчика обыкновенно выражаются и в том, *как он умеет слушать*. На-ряду с людьми, способными ценить логическую и психологическую нить повествования, отдельные связанные между собою части которого создают постепенно настроение, достигающее своего апогея в заключении, в освещающем и осмысливающем все факте, картине или лирическом порыве, — существуют слушатели нетерпеливые, жаждущие скорейшей „развязки“ и предупреждающие ее *догадками во всеуслышание* или досадными вопросами... Есть читатели, преимущественно между женщинами, которые начинают чтение повести или романа с последней главы, желая прежде всего узнать, чем и как все окончилось. Есть слушатели и рассказчики, подобные таким читателям.

Наконец, есть два рода внимания по отношению к способности души отзываться на внешние впечатления. *Одни* объективно и с большим самообладанием, так сказать, регистрируют то, что видят или слышат и лишь тогда, когда внешнее воздействие на их слух или зрение прекратилось, начинают внутреннюю, душевную переработку этого. Поэтому все, воспринятое ими, представляется их памяти ясно и не страдает пробелами и пропусками, объясняемыми перерывами внимания. Это те, которые, по образному выражению великого поэта, „научившись властвовать собой“, умеют „держатъ мысль

---

свою на привязи“ и „усыплять или давить в сердце своем мгновенно прошипевшую змею“. Иначе действуют и чувствуют себя *другие*, отдающиеся во власть своим душевным движениям. Эти движения сразу и повелительно завладевают ими и поражают иногда прежде всего внимание. Тут не может быть речи о забывчивости или недостатке последнего. Оно просто парализовано, его не существует вовсе. Таковы люди, по выражению того же Пушкина, „оглушенные шумом внутренней тревоги“. Этот шум подавляет всякую способность не только вдумываться в окружающее, но даже замечать его. Евгений в „Медном всаднике“, Раскольников в „Преступлении и наказании“—блестящие представители такого „оглушенного“ внимания. В этом положении часто находятся потерпевшие от преступления, допрашиваемые в качестве свидетелей,—находится и подсудимый, когда он, в некоторых случаях, даже искренно желал бы быть добросовестным свидетелем в деле о своем преступлении, о своем несчастье... Чем неожиданнее впечатление, вызывающее сильное душевное движение, тем больше парализуется внимание и тем быстрее *внутренняя* буря окутывает своим мраком *внешнее* обстоятельство. Почти ни один подсудимый, совершивший преступление под влиянием сильной эмоции, не может рассказать подробности *решительного момента* своего деяния—и в то же время может быть способен передать быстро сменявшиеся и перекрещивавшиеся в его душе мысли, образы и чувства перед тем, как он ударил, оскорбил, спустил курок, вонзил нож. Гениальное изображение этого душевного состояния, в котором целесообразность и известная разумность



действий совершенно не соответствуют помраченному сознанию и притупленному вниманию, дает Толстой в своем Позднышеве. Можно с уверенностью сказать, что каждый старый криминалист-практик, пробегая мысленно ряд выслушанных им сознаний подсудимых, обвинявшихся в преступлениях, совершенных в страстном порыве и крайнем раздражении, признает, что рассказ Позднышева об убийстве им жены типичен и поразителен, как доказательство силы прозрения великого художника и мыслителя.

Часто там, где играет роль сильная душевная восприимчивость, где на сцену властно выступает так-называемая *вспыльчивость* (которую не надо смешивать однако с *запальчивостью*, свойственной состоянию не внезапному, а нарастающему и, подобно чувству ревности, питающему само себя), потерпевший в начале столкновения становится преступником в конце его. Если однако он устоял против напора гнева и не поддался мстительному движению, его внимание все-таки обыкновенно действует только до известного момента, осуществляясь затем только отдельными, не связанными между собою проблесками. Когда сказано оскорбительное слово, сделано угрожающее движение, принято вызывающее положение, бросающие искру в давно копившееся негодование, в затаенную ненависть, в прочно сложившееся презрение (которое Луи Блан очень метко характеризует, говоря, что „le mepris—c'est la haine en repos—презрение—пребывающая в спокойствии ненависть“), тогда взор и слух „вспылившего“ обращаются внутрь—и утрачивают внимание ко внешнему. Этим объясняется то, что нередко, например,

---

оскорбление не тотчас же „выводит из себя“ возмущенного до крайности обиженного, а лишь после некоторой паузы, во время которой обидчик уже спокойно обратился к другой беседе или занятиям. Но это затишье—перед бурей... Внезапно наступает протест против слов, действий, личности обидчика в самой резкой форме. Было бы ошибочно думать, что в этот перерыв тот, который промолчал первоначально и лишь чрез известный промежуток времени проявил свое возмущение криком, воплем, исступлением, ударами—мог наблюдать и сосредоточивать на чем-либо свое внимание... Нет! он ничего не видел и не слышал, а был охвачен вихрем внутренних вопросов: „да как он смеет!? да что же это такое? да неужели я это перенесу?“ и т. д. Но даже и успев овладеть собою, решившись пропустить все слышанное „мимо ушей“ или напустить на себя умышленное непонимание из уважения к той или другой обстановке или в уповании на будущее отмщение, которое еще надо обдумать („la vendetta é una meta ché e bisogna mangiare a freddo“—говорят итальянцы—мщение есть кушанье которое надо есть холодным), потерпевший все-таки тратит столько сил на внутреннюю борьбу с закипевшими в нем чувствами, что *на время* его внимание совершенно подавлено. Отсюда—ответы невпопад и разные неловкости внезапно оскорбленного, свидетелем которых каждому приходилось бывать в жизни. Берите из показаний такого потерпевшего то, что сохранила его память до наступления в душе его „шума внутренней тревоги“ и не смущайтесь в оценке правдивости его слов тем, что затем внимание ему изменило. Свидетелем может быть не один потер-

певший, но и постороннее столкновению или несчастному стечению обстоятельств лицо. Если оно одарено впечатлительностью, если оно „нервно“ и не „вегетирует“ только, но умеет чувствовать и страдать, а следовательно и сострадать, то вид нарушения душевного равновесия в других, иногда в близких и дорогих людях, действует на него удручающе. Волнение этих людей, становясь заразительным, ослабляет внимание свидетеля или делает его очень односторонним. Кто не испытывал в жизни таких положений, когда хочется „провалиться сквозь землю“ за *другого* и собственная растерянность является результатом неожиданного душевного смущения другого человека? В этих случаях человеку с чутким сердцем, страдая за другого, инстинктивно *не хочется* быть внимательным...

К числу причин, заслоняющих в памяти или устраняющих из области внимания отдельные, связанные между собою, части события, о котором приходится свидетельствовать, надо отнести и сильные приливы чувства, вызванные сложным процессом внутреннего переживания скорби, утраты, разочарование и т. п. Вспоминая неуловимые постороннему взору черты отношений к дорогому существу, вызывая из невозвратного прошлого милый образ в его тончайших проявлениях или переживая оказанную кому-либо и когда-либо несправедливость или черствость—человек иногда в самом, *повидимому*, безразличном месте своего рассказа должен остановиться... Слезы подступают к горлу, тоска острая и безысходная, лишь на время уснувшая, впивается в сердце, а какое-нибудь слово или звук, влекущий за собою ряд воспоминаний, так приковывает к себе вни-

---

мание, что все последующее погружается в тень, и рассказ обрывается вследствие нравственной и физической (слезы, дрожь голоса, судороги личных мускулов) невозможности его продолжать. Вероятно, есть не мало судей, которые видели пред собою — и не раз — подобных свидетелей. Тургенев писал о крестьянке, потерявшей единственного сына. Передавая о том, как он хворал и мучился, бедная мать говорила спокойно и владела собою, но каждый раз, когда она доходила до рассказа о том, как, взяв от нея корочку хлеба, умирающий ребенок сказал ей: „мамка! ты бы сольцы...“ — какое-то невысказываемое воспоминание всецело овладевало ею, она вдруг заливалась слезами, начинала рыдать и уже не могла продолжать рассказа, а только безнадежно махала рукой. В таком же положении, помню я, была жена одного достойного человека, убитого на глазах ее и трех маленьких детей ее же братом за то, что он вступился за честь обольщаемой убийцею девушки. И при следствии, и на суде, при повторных показаниях, она твердо и с достоинством защищая честь своего мужа против клеветнических оправданий брата, сравнительно спокойно рассказывала про самое событие, но лишь доходила до слов мужа: „стреляй, если смеешь!“ сказанных покойным в ответ убийце на его угрозу стрелять, как лицо ее искажалось, и внезапные горькие слезы мешали ей продолжать, несмотря на усилие овладеть собою и снова захватить нить своих скорбных воспоминаний.

---

#### IV.

Если таковы, в главных чертах, свойства внимания вообще, которые надо принимать в расчет не только при оценке свидетельских показаний, но и при самом производстве допроса, то на ряду с ними возможно указать на некоторые особенности внимания, так сказать *исключительные* или *личные*, т. е. в частности присущие тому или другому свидетелю уже не *in genere*, но *in specie*.

Сюда, например, относится особенная склонность некоторых людей обращать исключительное и даже болезненное внимание на какую-нибудь отдельную часть тела человека и, в особенности, на его *уродливость*.<sup>?</sup> Затем некоторых во всей физиономии человека прежде всего привлекают к себе глаза, других его походка, третьих — цвет волос. Есть люди, одаренные *memoire auditive*, которые не в силах удержать в памяти чье-либо лицо — и в то же время с чрезвычайною ясностью, во всякое время способны представить себе голос того же самого человека со всеми его оттенками, вибрацией и характерным произношением. Свидетель, который обращает внимание на глаза, описав их цвет, разрез и выражение, станет в тупик или ответит очень неопределенно, если его спросить о росте или о цвете волос обладателя



этих самых глаз. Вспоминая об Инесе, Пушкинский Дон-Жуан говорит: „...Мало было в ней истинно прекрасного;—глаза, одни глаза, да взгляд... а голос у нее был тих и слаб, как у больной...“ Почти все видевшие Императора Николая I, рассказывая о нем, прежде всего отмечают стальной цвет его глаз и трудно переносимое выражение его пристального взгляда, ограничиваясь вместе с тем общими местами о классической правильности его лица. Немногие, еще недавно остававшиеся в живых, современники Федора Петровича Гааза, описывая довольно разнообразно и даже противоречиво его наружность, твердо и с любящею подробностью останавливались на его голубых глазах... Почти так же как глаза приковывает к себе внимание *походка*. Чтение исторических мемуаров убеждает в этом. Из внешних признаков выдающихся деятелей чаще всего отмечается их походка. Стоит для этого просмотреть различные воспоминания о Наполеоне. Графиня Антонина Блудова, с нежным уважением вспоминая о великой княгине Елене Павловне и рисуя свои первые и последние свидания с нею, очевидно незаметно для себя в двадцати строках останавливается три раза на стремительной походке этой замечательной женщины... Уродливости:—горб, хромота, косоглазие, кривоглазие, болезненные наросты на лице, шестипалость, провалившийся нос, и т. п.—на многих производят какое-то гипнотизирующее впечатление. Взор их невольно, вопреки желанию, обращается постоянно к этому прирожденному или приобретенному недостатку, почти не будучи в силах от него оторваться. Инстинктивное чувство эстетики и стремление к гармонии и симметрии, свойственные человеку,

---

обостряют протестующее внимание. И здесь прочие свойства и черты наблюдаемого человека отходят на задний план и стушевываются. Свидетель, отлично изучивший телосложение горбуна или вглядевшийся с пристальным вниманием в движения человека с искалеченными, скрюченными или неравными ногами, совершенно добросовестно не будет в силах припомнить об одежде, цвете волос или глаз тех же самых людей...

К случаям подобной *связанности* внимания приходится отнести и те, когда чувство ужаса или отвращения заставляет избегать взгляда на предмет, возбуждающий такое чувство. Есть люди, не могущие заставить себя глядеть на труп вообще, а на обезображенный, с зияющими ранами, выпавшими внутренностями и т. п. тем более. Внимание их обращено на все, что находится вокруг и около наводящего ужас предмета, и упорно отвращается от самого предмета. Это, конечно, отражается и в их показаниях. И наоборот, на некоторых такие именно предметы имеют то гипнотизирующее влияние, о котором говорилось выше. Несмотря на чувство ужаса или отвращения, даже прямо *вопреки* ему, иной человек не может отвести глаз от картины, от которой, по народному выражению, „тошнит на сердце“. Взор постоянно обращается к тягостному и отталкивающему зрелищу и невольно, с пытливостью и необыкновенною изощренностью, впитывает в память подробности, возмущающие душу и вызывающие чувство мурашек в спине и нервную дрожь в конечностях. В современной жизни местом проявления такого гипноза часто служат кабинеты восковых фигур. На многих эти фигуры, с зеленовато-мертвенным оттенком их лиц, непо-

движными глазами и безжизненными, деревянными ногами, производят неприятное впечатление. Это впечатление доходит до крайних пределов, когда такие фигуры служат для изображения мучительства различными пытками или сцен совершения кровавых преступлений. Музей Grevin в Париже, подносящий своим посетителям последние новинки из мира отчаяния, крови и проклятий или так называемые „Folterkammer“ немецких восковых кабинетов всегда могут насчитать между посетителями этих вредных и безнравственных зрелищ,—приучающих толпу к спокойному созерцанию жестокости,—людей, которых „к этим грустным берегам влечет неведомая сила“. Приходилось встречать нервных людей, которые предпочли бы остаться ночью в одной комнате с несколькими трупами, например в анатомическом театре или „препарировочной“, чем провести час наедине с несколькими восковыми фигурами. И тем не менее, они почти никогда не могли удержаться от искушения зайти в кабинет восковых фигур. Они вступают туда с „холодком“ под сердцем и удовлетворив, не взирая на душевное возмущение, своему любопытству удручающими образами во всех подробностях, потом страдают от вынесенного впечатления и долго тщетно стараются затушевать в своей памяти вопиющие картины... Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что есть в изображении действительности или возможности черта, переходить за которую не следует, ибо за нею изображение уже становится поступком и при том поступком безжалостным и даже вредным. Несколько лет назад на художественных выстав-

---

ках в Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла *пытку водою*, при чем безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот женщины, в которую вливают, зажимая ей нос, чтобы заставить глотать, *второе ведро* воды,—были изображены с ужасающей реальностью. На другой, носившей название „Искушение святого Антония“, место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали мертвецы всех степеней разложения, пожиравшие друг друга и пившие из спиленной верхней части своего черепа, обращенной в чашу, лежавший в ней собственный мозг. Пред обеими картинами всегда стояла толпа, некоторые возвращались к ним по нескольку раз, и в то время, когда из их уст раздавались невольные возгласы отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все подробности и прочно гравировали их в памяти.

Едва ли нужно говорить, что применимое к зрению применимо в данном случае и к слуху *непосредственно*—в виде рассказа и *посредственно*—в виде чтения. Пробегая глазами за строками автора, читатель его *слушает* и усваивает себе *рисуемые* им картины. И здесь поражающие изображением утонченной жестокости описания, мучительно привлекая к себе внимание, не могут не оставлять в памяти борозды гораздо более глубокой, чем все остальное. Тут дело не в глубине идеи, не в яркости и жизненности образа, не в смысле того или другого трагического положения, а исключительно в почти физически бьющем по нервам изображении техники злобы и бесчеловечия. Известный роман Октава Мирбо „*Le jardin des supplices*“ является разительным примером такого произведения, с любовью рисующего

---

две стороны одной и той же медали: чувственность и жестокость. Можно наверное сказать, что прочитавший этот роман легко позабудет его фабулу и ее последовательное развитие, место и время действия, но никогда не вытравит из своей памяти картины изощренных, чудовищных мучений, пред которыми адские муки, так пугавшие благочестивых грешников, являются детской забавой.

Применяя эти замечания к свидетельским показаниям, приходится признать, что *гиперэстезия* (обостренность) внимания, привлеченного картинами, внушающими ужас и отвращение, вызывает роковым образом *анэстезию* (притупленность) внимания к другим побочным и в особенности последующим впечатлениям. Это, конечно, отражается и на неравномерном весе и полноте отдельных частей показания. Но видеть в этом неправдивость свидетеля или намеренные с его стороны умолчания — нет основания. Таким образом очень часто о выходящем из ряда события или резкой коллизии, о трагическом положении или мрачном происшествии создаются несколько показаний разных лиц, одинаково внешним образом стоявших по отношению к ним и показывающих каждый неполно, а все вместе, в своей совокупности, дающих совершенно полную и соответствующую действительности картину. Один расскажет все мелочи обстановки, среди которой найден убитый, но не сумеет определить, лежал ли труп ничком или навзничь, был ли одет или раздет и т. д., а другой подробно опишет выражение лица у трупа, положение конечностей, пену на губах, закрытые или открытые глаза, направление ран, количество и расположение кровавых пятен на



---

белье и одежде—и не сможет сказать, сколько окон было в комнате, были ли часы на стене и портьеры на дверях и т. д. Один и тот же предмет отталкивал от себя внимание первого свидетеля,—приковывал внимание второго...

Есть случаи, когда поражающая свидетеля картина складывается из нескольких непосредственно следующих друг за другом и наводящих ужас моментов. Здесь зачастую *последующий* ужас притупляет внимание к *предшествующему* и вызывает по отношению к первому разноречия. Яркий пример этого мы видим в рассказах *очевидцев* (или со слов их) об убийстве в Москве, в 1812 г., в день вступления французов, купеческого сына Верещагина, коим осквернил свою память граф Ростопчин. Описание этого события у Л. Н. Толстого в „Войне и мире“ составляет одну из гениальнейших страниц современной литературы. Но, проверяя это описание по показаниям свидетелей, приходится заметить, что сцена указания толпе на „изменника, погубившего Москву“, и затем расправа последней с ним—всеми рассказываются совершенно одинаково, а предшествовавшее ей приказание *рубить* Верещагина передается совершенно различно. В рассказе М. А. Дмитриева—Ростопчин дает знак рукой *казаку* и тот ударяет несчастного саблей; в рассказе Обрезкова—ад'ютант Ростопчина приказывает *драгунам* рубить, но те не скоро повинуются и приказание повторяется; по запискам Бестужева-Рюмина—ординарец Бердяев, следуя приказу графа, ударяет Верещагина в лицо; по воспоминаниям Павловой (слышавшей от очевидца)—Ростопчин, со словами: „вот изменник“, сам толкнул Верещагина в толпу и чернь

---

тотчас же бросилась его терзать и рвать на части. Таким образом, исступление озверевшего народа столь поразило очевидцев, что из их памяти изгладилось точное воспоминание о том, что ранее должно было привлечь к себе их внимание.

К индивидуальным особенностям отдельных свидетелей, влияющим на содержание их показаний, кроме физических недостатков — тугого слуха, близорукости, дальтонизма, амблиопии и т. п. относятся *пробелы* памяти, пополнить которые невозможно самым напряженным вниманием. Сильная в общем память не только может быть развита односторонне и представлять собой проявление *слухового, зрительного* или *моторного* типа, но даже и соединяя в себе все эти элементы и являясь памятью так называемого *смешанного* типа, давать на своей прочной и цельной ткани необъяснимые разрывы относительно специального рода предметов. В эти, если можно так выразиться, *дыры памяти* проваливаются чаще всего собственные имена и числа, но нередко то же самое делается и с целым внешним образом человека, с его физиономией. Напрасно обладатель такой сильной, но *дырявой* памяти будет напрягать все свое внимание, чтобы запомнить число, запечатлеть у себя в уме чью-либо фамилию или упорно вглядеться в чье-либо лицо, анализируя его отдельные черты и стараясь отдать себе ясный отчет в каждой из них в отдельности и во всей их совокупности... Допрошенный в качестве свидетеля, выступая защитником или обвинителем, говоря руководящие напутствия присяжным заседателям, делая доклад — он почти неизбежно забудет и числа и имена, если только не будет иметь пред

---

глазами бумажки, где они записаны, а в житейском обиходе постоянно будет в бессильном недоумении пред необходимостью соединить ту или другую личность с определенным именем. И тут память ксварным образом двояко отказывается служить: то, удерживая имя, утрачивает представление о соединенной с ним личности, то, ясно рисуя известный образ, теряет бесследно присвоенное ему прозвание. Кроме этих случаев, так сказать *внутренней афазии* памяти, у некоторых людей одновременно стираются в памяти и личность и имя, а в то же время с чрезвычайно отчетливостью остаются действия, слова, тон и звук речи, связанные с этим именем и личностью. Показания свидетелей с такою дырявою памятью с первого взгляда могут казаться странными и даже не внушать к себе доверия, так, как, не зная этих свойств памяти некоторых людей, бывает трудно отрешиться от недоумения—каким образом человек, передавая, например, в мельчайших подробностях чей-либо рассказ со всеми оттенками, складом и даже интонациями речи, не может назвать имени и фамилии говорившего или же поставленный с ним „с очей на очи“ не может сказать, кто это такой?.. А между тем свидетель глубоко правдив и в подробностях своей передачи, и в своих ссылках на „non mi ricordo!“ (не помню)!

Был судебный деятель, занимавший много лет должность прокурора и председателя Окружного Суда одной из столиц, способный, по признанию всех знавших его, к самому тщательному и проницательному вниманию, одинаково пригодному и для анализа и для синтеза, одаренный очень сильною смешанною памятью и, тем

---

не менее, совершенно „беспамятный“ на имена и на лица. Ему необходимо было много раз подряд видеть какое-нибудь лицо, чтобы узнать его при встрече, при чем малейшее изменение—отросшая борода, надетая шляпа, очки, другой костюм,—делали этого встреченного новым и незнакомым лицом. Точно то же повторялось и с именем и фамилией. А между тем обширные обвинительные речи и руководящие напутствия присяжным по самым сложным делам произносились им без письменных заметок, которые лишь в самых крайних случаях заменялись полоскою бумажки с разными условными знаками. Обязанный, в качестве председателя Суда, объяснять удаленному из залы заседания, по какому-либо поводу, подсудимому, *что* происходило в его отсутствие, этот председатель, стремясь предоставить, согласно требованию Судебных Уставов, подсудимому все средства оправдания, излагал пред последним на память *все содержание* прочитанных в его отсутствие протоколов и документов и повторял, почти слово в слово, показания свидетелей. И в то же время ему не раз приходилось бывать в неловком положении вследствие своей забывчивости на собственные имена в такие моменты процесса, когда справляться со списком свидетелей было стеснительно и даже невозможно. Однажды, начав обвинительную речь по обширному делу о подлоге нотариального завещания, длившемуся несколько дней, он никак не мог, несмотря на все усилия памяти, припомнить фамилию весьма важного *из впервые вызванных* на суд, по просьбе защиты, свидетелей, без ссылки на показания которого невозможно было обойтись. К счастью, у этого свидетеля была медаль на шее.

---

Ссылаясь на этот признак в самых осторожных и уважительных выражениях, прокурор несколько раз возвращался к разбору показания свидетеля, правдивости которого он придавал полную веру. Во время перерыва заседания, после речей защиты, свидетель этот обратился к нему с выражением крайней обиды. „Я, милостивый государь,—говорил он,—имею чин, имя, отчество и фамилию; я был на государственной службе; я не „свидетель с медалью на шее“; я этого так не оставлю!“ На извинения прокурора со ссылкой на свою „дырявую“ память и на невозможность справляться в разгаре речи с деловыми отметками,—„свидетель с медалью“, иронически смеясь, сказал: „ну, уж этому-то я никогда не поверю; я прослушал всю вашу речь и видел, какая у вас чертовская память,—вы чуть не два часа целые показания на память говорили, а пред вами ни листочка!—только мою фамилию изволили забыть!—вы меня оскорбили нарочно и я желаю удовлетворения...“ Возглас судебного пристава о том, что „суд идет!“, прервал этот разговор. „Я к вашим услугам, если вы считаете себя оскорбленным,—сказал, спеша на свое место, прокурор,—и во всяком случае сейчас же, начиная возражения защите, публично извинюсь пред вами и, объяснив, что вы считаете для себя обидным иметь медаль на шее, назову ваше звание, имя, отчество и фамилию...“ — „То-есть, как же это!? Нет, уж лучше оставьте по-старому и пожалуйста не извиняйтесь,—еще хуже пожалуй выйдет,—нет, уж пожалуйста, прошу вас...“ Недоразумение, вызванное пробелом памяти, окончилось благополучно...

Весьма важную роль в свидетельских показаниях играют *бытовые* и *племенные* особенности свидетеля,



---

*язык* той среды, к которой он принадлежит и, наконец, его обычные *занятия*. В первом отношении показания, вполне правдивые и точные, данные по одному и тому же обстоятельству двумя свидетелями разного племени, могут существенно различаться по форме, по краскам, по сопровождающим их жестам, по живости передачи. Стоит представить себе рассказ хотя бы, например, об убийстве в „запальчивости и раздражении“, случайными свидетелями которого сделались житель „финских холодных скал“ и уроженец „пламенной Колхиды“. Фактически рассказ, пройдя сквозь перекрестный допрос, в обоих случаях будет тождествен, но какая разница в передаче этой фактической стороны, в отношении к ней свидетеля, какие оттенки в рисунке! На медлительное созерцание северянина наибольшее впечатление произведет смысл действия обвиняемого, которое и будет охарактеризовано кратко и точно („ударил ножом, кинжалом...“); живая натура южанина скажется в образном описании действия („выхватил нож, кинжал и вонзил его в грудь...“). В рассказе привыкшего к порядку немца-колониста или мирного обывателя срединной России невольно прозвучит осуждение кровавой расправы;—в показании еврея послышится нервная впечатлительность пред таким делом; у горца или у любящего подраться обитателя земель старых „севернорусских народоправств“ можно будет уловить ноту некоего сочувствия „молодцу“, который не дал спуску...

Точно так же сказываются и бытовые особенности, род жизни и занятий. Каждый, кому приходилось иметь дело со свидетелями в Великороссии и Малороссии, конечно, подметил разность в форме, свободе и живости

---

показаний свидетелей, принадлежащих к этим двум ветвям русского племени. Великоросс расскажет все или почти все сам; малоросса по большей части приходится спрашивать, так сказать добывая из него показание. Показания великоросса обыкновенно *описательного* свойства,—в медлительном и неохотном показании малоросса зато гораздо чаще блестят тонкие и остроумные *определения*. Рассказ простой великорусской женщины, „бабы“, обыкновенно бесцветнее мужского, в нем слышится иногда запуганность и подчиненность; рассказ хохлушки, „жинки“, всегда ярче, полнее и решительнее рассказа мужчины. Это особенно бросается в глаза в тех случаях, когда об одних и тех же обстоятельствах дают показания муж и жена. Здесь бытовая разница семейных отношений и характер взаимной подчиненности супругов сказываются наглядно. Нужно ли говорить, что горожанин и пахарь, что фабричный работник и кустарь, матрос и чиновник, повар и пастух, рассказывая об одном и том же, непременно остановятся в своих воспоминаниях на тех особенностях события, которые имели какое-либо отношение к их занятиям и роду жизни, а для других прошли, вовсе не вызывая никакого обострения внимания.

Способ выражений свидетелей, *их стиль*, своеобразие в понимании ими тех или других слов могут быть источником недоразумений и неправильной оценки правдивости их показаний. Для судьи необходимо знать местные выражения. Это важно для избежания опасных в некоторых случаях заблуждений и ошибок. Важно оно и для сохранения изобразительности и жизненного колорита в самом содержании показания, тем более, что

---

это необходимо для суда, решающего дело по внутреннему убеждению и, следовательно, часто руководящегося общим впечатлением от рассказа свидетелей. Поэтому свидетельские показания, передаваемые переводчиком (и иногда, как, например, было на Кавказе — не одним, а двумя и даже тремя) нередко не менее грозят истине своею обесцвеченностью и тусклым характером, чем и показания лживые. Для суда важно не только то, *что* показывает свидетель, но и *как* он показывает, важно не то, что видел или слышал какой-то отвлеченный человек, а нужно свидетельство определенной личности, с присущими ей свойствами и своеобразностью. Пред судом предстоит не мертвый фотографический механизм, а живой и восприимчивый человеческий организм. Язык есть наиболее яркое и вместе стойкое проявление личности. *Le stile c'est l'homme*, говорят французы, — *c'est l'âme* — можно бы во многих случаях не без основания прибавить к этому. Вот почему особенности речи, бытовые названия и самая манера свидетеля выражаться должны останавливать, на себе вдумчивое внимание судьи.

Сколько комических, могших, однако, стать и трагическими, сцен приходилось видеть при введении судебной реформы в областях Харьковской и Казанской судебных палат! Тогда уроженцы столиц, явившиеся в ролях судей и сторон, не понимали, например, местного значения слов: „турнуть“, „околеть“ (озябнуть), „пропасть“ (околеть), „отмениться“ (отличиться), „постовать“ (говеть), „наджабить“ (вдавить) и т. д., — тогда малороссийскую девушку торжественно допрашивали о том, были ли у нея „женихи“, — или, в Пермском крае, недо-

---

умевали, зачем свидетельница говорит, что у нея „пропала дочка“, когда дело идет об убитой свинье, или удивлялись, что свидетель „убежал“ в Сарапуль или Казань, когда он мог бы спокойно *уехать* на пароходе, или же грозили ответственностью за лжеприсягу свидетелю, который на вопрос о том, какая была погода в день кражи, упорно стоял на том, что „ни какой погоды не було“...

В языке свидетеля очень часто выражается и глубина его *способности мышления*. Как часто за внешнею словоохотливостью скрывается скудость соображения и отсутствие ясности в представлениях и, наоборот, в сдержанном, кратком слове чувствуется честное к нему отношение и сознание его возможных последствий. Слова „Фауста“: „wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein“ применимы и к свидетельству на суде. Люди внешнего лоска и полуобразования особенно склонны к пустому многословию,—простой человек, хлебнувший городской культуры, любит выражаться витиевато и употреблять слова в странных и неожиданных сочетаниях,—но свидетель из простонародья говорит обыкновенно образным и сильным в своей оригинальности языком. Наряду, например, с выражениями полуобразованных свидетелей о „нанесении раны в запальчивости и разгорячении нервных членов“, о „страдании падучею болезнью в совокупности крепких напитков“, о „невозможности для меры опьянения никакого Реомюра“ и о „доведении человека до краеугольных лишений и уже несомненных последствий“, приходилось слышать в свидетельствах простых русских людей такие образные выражения и поговорки,

---

как: „они уже и дальше ехать собирались, ан тут и мы — вот они!“, „нашего не остается всего ничего“, „только и осталось, что лечь на брюхо, да спиной прикрыться“, „святим-то кулаком, да по окаянной шее“, „все пропил! мать ему купила теперь сюртук и брюки — ну, вот он и опять в пружинах“ „да ему верить нельзя — он человек воздушный!“ и т. д. Иногда в таких выражениях содержится синтез всего, что остановило на себе внимание свидетеля, направленное не на одно восприятие и воспроизведение внешних образов и звуков, но на их осмысленную переработку, в виде нравственного вывода, выражаемого прелестным по своей своеобразности афоризмом.



## V.

Судебный навык показывает, что по отношению к ряду свидетелей всегда приходится делать некоторую редукцию показаний вследствие области бессознательной лжи, в которую они вступают, искренно веря в действительность того, что говорят. Так, например, потерпевшие от преступления всегда и при том нередко вполне добросовестно склонны *преувеличивать* обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав. Особливо это часто встречается в показаниях потерпевших — пострадавших, то-есть таких, которые были так сказать *очевидцами* содеянного над ними преступления. Пословица „у страха глаза велики“ вполне применима в подобных случаях. Внезапно *возникшая* опасность невольно заставляет преувеличивать размеры и формы, в которых она выразилась; опасность *прошедшая* рисуется взволнованному сознанию большею, чем она была, отчасти под влиянием ощущения, что она уже прошла. Известно, что на людей впечатлительных, ставших в положение, по их мнению, безразличное или безопасное, действует затем самым удручающим образом неожиданно проявившееся понимание опасности или горестных последствий, которые *могли бы произойти*, и сердце их сжи-

---

мается от *ретроспективного ужаса* не менее сильно, чем если бы он предстоял. Слова Байрона о „сердце, не могущем вынести того, что оно уже вынесло“, как нельзя лучше изображают такое состояние. Отсюда сильные выражения в описании ощущений и впечатлений, отсюда преувеличения в определении размера, быстроты, силы и т. п. Простая палка оказывается дубиной, угроза пальцем — под'емом кулака, возвышенный голос — криком, первый шаг вперед — нападением, всхлипывание — рыданием, и слова — „ужасно“, „яростно“, „оглушительно“, „невыносимо“ — пересыпают описание того, что произошло или могло произойти с потерпевшим. Сопоставление этой, по большей части неумышленной лжи пострадавшего с умышленной ложью подсудимого, стремящегося обелить себя на фактической почве или смягчить свою вину, вносит иногда юмористический элемент в отправление правосудия. В остроумной немецкой книжке „Handbuch für lustige und traurige Juristen“ изображено в рисунках дело о нападении собаки на прохожего таким, каким оно представлялось по рассказам потерпевшего и обвиняемого — хозяина собаки — и каким оно было на самом деле. Громадный пес, упершись могучими лапами в грудь потерпевшего, разезает пред самым лицом его огромную пасть; маленькая собачка дергает того же самого человека за край брюк и, наконец, средней величины собака хватает его за полу пальто. В Петербургском окружном суде разбиралось, несколько лет назад, дело о профессиональной воровке кур, судившейся в седьмой или восьмой раз. Зайдя на двор большого дома в отдаленной части столицы, она приманила петуха и,

---

накинув, по словам сидевшей у окна в четвертом этаже потерпевшей, на него мешок, быстро удалась, но была задержана хозяйкою похищенной птицы и городовым уже в то время, как продавала петуха довольно далеко от места кражи. На суде она утверждала, что зашла во двор „за нуждою“ и лишь уйдя заметила, что какой-то „ласковый петушок“ упорно следует за нею, почему и взяла его на руки, боясь, как бы его не раздавили при переходах через улицы. Потерпевшая с негодованием отвергла это объяснение, заявляя, что у нея „петушище характерный“ и ни за кем бы, как собака, не пошел. Обе так и остались при своем. Присяжные нашли, что петух был „характерный“.

К той же области бессознательной лжи относится у людей, мыслящих преимущественно образами (а таких большинство), совершенно искреннее *представление* себе настроения тех лиц, о которых они говорят, — настроения, выраженного в кажущемся жесте, тоне голоса, выражении лица. Думая, что другой думает то-то или так-то, человеку свойственно отправляться в своей оценке всего, что этот другой делает, от уверенности в том, что им руководит именно такая, а не другая мысль, что им владеет именно такое, а не другое настроение. В обыденной жизни подобное представление вызывает собою и известную реакцию на *предполагаемые* мысли другого — и отсюда является сложная и очень часто совершенно произвольная по своему источнику формула действий: „я думаю, что он думает, что я думаю..., а потому *надо* поступить *так*, а не иначе“. Отсюда разные эпитеты и прилагательные, далеко не всегда оправдаемые действительностью и коре-

---

нящиеся исключительно в представлении, в самовнушении говорящего. Отсюда „презрительная“ улыбка или пожатие плечами, „насмешливый“ взгляд, „вызывающий“ тон, „ироническое“ выражение лица и т. п., усматриваемые там, где их в сущности вовсе не было. При некоторой живости темперамента свидетель нередко даже наглядно изображает того, о ком он говорит и кажущееся ему добросовестно выдает за действительность. Особенно это применяется при изображении тона выслушанных свидетелем слов. Существует рассказ об отце, жалующемся на непочтительность сына. Приводя повышенным голосом и повелительную скороговоркою слова письма последнего: „пожалуйста, пришли мне еще сто рублей“, отец говорит: „ну, напиши он мне...“ и, мягко растягивая слова, продолжает: „пожалуйста, пришли мне еще сто рублей — я бы ничего не сказал, а то вдруг...“ и голос повышается снова, хотя слова остаются теми же. Нельзя не признать, что этот рассказ житейски верен.

Наконец, сюда же надо отнести рассказы о несомненных фактах, облеченные в несомненно фантастическую форму, не замечаемую однако рассказчиком. Таковы, например, рассказы простых людей о словах иностранцев, не знающих ни слова по-русски, сопровождавших те или другие их действительно совершенные действия. Известно, что наши солдаты и матросы в чужих краях и в периоды перемирий на полях битв разговаривают с иностранцами, вполне их по своему понимая. Во „Фрегате Паллада“ — Гончарова, в „Севастопольских письмах“ — Толстого и в воспоминаниях Берга об осаде Севастополя есть яркие и дышащие

---

правдою примеры таких бесед. Характерно в этом отношении показание свидетеля, данное в нашем военно-полевом суде в Китае, в 1900 году, по делу об убийстве ефрейтора в местности, где *никто из жителей не говорил по-русски*. „Иду я,—показывал солдатик,— и встречаю какого-то *китая* (китайца) и говорю ему: китай, а китай! не видал ли нашего ефрейтора? — Как же, отвечает, видел: вон, там лежит в канаве—и рукой этак указывает... смотрю — и впрямь ефрейтор лежит в канаве“...

От показаний, данных неточно или отклоняющихся от действительности под влиянием настроения или увлечения, надо отличать *несомненно ложные по самому своему существу показания*. Здесь не существует, однако, общего мерила и по происхождению своему такие показания весьма различны. Из них, прежде всего, необходимо выделить те, которые даются под влиянием *гипнотических внушений*. Эти внушения, остроумно названные доктором Льежуа „интеллектуальною вивисекцию“, разлагают внутренний мир человека и, вызывая в нем целый ряд физиологических и душевных явлений, оказывают самое решительное и при том двоякое воздействие на память, то обостряя ее до крайности, то затемняя почти до совершенной потери. Таким образом, заставив загипнотизированного забыть обстоятельства, сопровождавшие внушение, можно вызвать в нем совершенное забвение того, что он узнал о том или другом обстоятельстве или, наоборот, путем „ретроактивных галлюцинаций“ (термин Бернгейма) создать в нем твердую уверенность в том, что ему пришлось быть в действительности свидетелем вовсе не существующих



---

обстоятельств. Рядом с такими показаниями идут показания, даваемые под влиянием *самовнушения*. Таковы, очень часто, показания детей. Крайняя впечатлительность и живость воображения при отсутствии надлежащей критики по отношению к себе и к окружающей обстановке делают многих из них, под влиянием наплыва новых ощущений и идей, жертвами самовнушения. Приняв свою фантазию за действительность, незаметно переходя от „так *может* быть“ к „так *должно* было быть“ и затем к „так *было!*“ они упорно настаивают на том, что кажется им совершившимся в присутствии их фактом. Возможность самовнушения детей, представляющая не мало исторических примеров, является чрезвычайной опасностью для правосудия—здесь была бы уместна психологическая экспертиза, подкрепляющая самый тщательный и необходимый анализ показания со стороны судей.

Затем идет ложь в показаниях под влиянием *патологических состояний*, выражающихся в болезненных иллюзиях, различных галлюцинациях и навязчивых идеях. Последние часто переходят в болезненный, навязчивый страх, имеющий иногда профессиональный характер или связанный с необходимостью действий, долженствующих вызывать благоговение. Таков, напр. отмечаемый Бехтеревым „страх великого выхода“ во время литургии. В чудной повести Тургенева „Рассказ отца Алексея“ картина возникновения и развития навязчивого страха изображена удивительными чертами. Сюда же относятся расстройства в сфере чувственных восприятий, исследованные Бехтеревым, как психанестезии и гиперэстезии в области общего чувства, при-

---

чем болезненные явления вызываются представлением, связанным иногда с каким-либо словом, напр.—*кровь*. И здесь совместная вдумчивая работа судей и сторон, с вызовом необходимых очевидцев жизни и поведения свидетеля, а также наблюдавшего его врача—поможет отделить бред на яву свидетеля от действительности.

Наконец, есть область вполне сознательной и, если можно так выразиться, *здоровой* лжи, существенно отличающейся от *заблуждения* под влиянием притупления внимания и ослабления памяти. В последнее время явилось несколько подробных этикопсихологических очерков лжи, как движущей силы в извращении правды; между прочим особой разновидности неправды, остроумно именуемой „мечтательной ложью“, посвящен интересный очерк Холчева; общие черты „психологии лжи“ намечены Камиллом Мелитаном и профессором Дюпра—и, наконец, бытовые типы „русских лгунов“ даровито и образно очерчены ныне, к сожалению, забываемым высоко даровитым А. Ф. Писемским. Размеры настоящей книжки не позволяют касаться этой категории показаний, в которой, по меткому выражению Ивана Аксакова, „ложь лжет истиной“. Нельзя, однако, не указать, что этого рода ложь бывает *самостоятельная* или *навязанная*, при чем в первой можно различать ложь *беспочвенную* и ложь *обстоятельную*. Во лжи беспочвенной сочиняются иногда не существовавшие обстоятельства (сюда относится и *мечтательная ложь*) и весь ум свидетеля направлен лишь на то, чтобы придать своему рассказу внешнюю правдоподобность, внутреннюю последовательность и согласованность частей. Чем более такой свидетель, по старин-

ному выражению, „воюет тайным коварством на истину во образе правды“, тем осторожнее и глубже ведет он те „мины под фортецию правды“, о которых говорит Зерцало. Только совокупность взаимно подкрепляющих свою достоверность противупоказаний и самый тщательный перекрестный допрос, доходящий до всех мелочей показания, могут разоблачить настоящую цену такого ложного показания. Психологической экспертизе здесь не найдется никакого дела. В *обстоятельственой* лжи—внимание, направленное не на внутреннюю работу хитросплетения, а на внешние, действительно существующие обстоятельства, играет большую роль, твердо напечатлевая в памяти те именно подробности, которые *подлежат искажению или скранию* в обдуманном и предусмотрительном рассказе о якобы виденном и слышанном. И здесь, в исследовании силы и продолжительности нарочно *подделанной* памяти, опытами экспериментальной психологии едва ли можно многого достичь. Наконец, ложь *навязанная*, т.е. придуманная и выношенная не самим свидетелем, а вложенная в его уста для посторонних ему целей, так сказать сообщенная ему *ad referendum*, почти всегда представляет уязвимые стороны. По большей части эти стороны кроются в том, что свидетель есть носитель, но не изобретатель лжи и что искусный допрос может застать его врасплох. Иногда очень добросовестно исполняя данное ему безсовестное поручение, такой свидетель теряется при непредусмотренных заранее вопросах, путается и раскрывает игру своих внушителей. Поэтому перекрестный допрос есть лучшее средство для оценки таких показаний.

---

Автору этих строк пришлось участвовать в процессе по обвинению „достоверных лжесвидетелей“ в одном бракоразводном деле. Они были выставлены мужем против жены, почтенной и уже пожилой женщины, несогласавшейся принять вину на себя—и удостоверили, что были очевидцами той омерзительной картины, наличность которой требовалась для развода по прелюбодеянию одного из супругов. Привлеченные к следствию, они очень искусно перекладывали ответственность друг на друга, образуя цепь *введенных в заблуждение* людей, замыкавшуюся *настоящим обманщиком*, указавшим одному из них в театре женщину, застигнутую ими потом в прелюбодеянии, ложно названную им именем жертвы их невольного и бессознательного клятвопреступления. Но он—этот злой дух всего дела—оказался уже умершим. Чтобы окончательно оправдаться, обвиняемые указали на мелкого чиновника, подтвердившего на суде, что он слышал, как умерший, в театре, показывал одному из них сидевшую в ложе даму, называя ее по фамилии невинно опозоренной женщины. Показание было дано определенно и с горячностью человека будто бы сознающего, что, свидетельствуя истину, он спасает людей от гибели. Но пришибленная судьбою наружность свидетеля, его засаленный виц-мундир, обтрепанные панталоны, отсутствие видимых признаков белья и нервное перебирание старой форменной фуражки дрожащими, повидимому не от одного волнения, руками, невольно вызвали ряд вопросов.—Что давали в театре?—Оперу.—Какую—итальянскую или русскую?—Итальянскую.—Где происходил слышанный разговор?—В проходе у третьего ряда кресел.—А вы сами часто

---

бываете в опере?—Да.—А в каком ряду сидите—далеко или близко?—Как придется,—так, во втором или третьем. Вы абонированы?—Что-с?—Ну, сколько платите за место? (тогда пела Патти и места доставались по очень дорогой цене).—Когда рубль, а когда и полтора. А сколько получаете по службе канцелярским чиновником?—23 рубля в месяц.—А в каком театре это было (итальянские оперы давались в Петербурге исключительно Большом театре, где ныне здание Консерватории) Большом или Мариинском?—В *Мафиновском*... Свидетель сел на место, бросая беспокойные взгляды на скамью подсудимых, а прокурор не без основания посоветовал присяжным обойти его показания, „так как свидетель имеет слишком необыкновенные качества, чтобы пользоваться его показанием при обсуждении обыкновенного дела: он обладает удивительным свойством дальновзоркости и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из 2-го или 3-го ряда кресел Мариинского театра он видит, кто сидит во 2-м ярусе Большого...”

В заключение остается указать еще на один вид сознательной лжи в свидетельских показаниях, лжи бесзастенчивой и не редко наглой, нисколько не скрывающейся и не заботящейся о том, чтобы быть принятою за правду. Есть свидетели, для которых, по тем или другим причинам, явка пред суд представляет своеобразное удовольствие, давая возможность произвести эффект „*rouir épater le bourgeois*“, как говорят французы, или же получить *аванс* за свое достоверное показание, не приняв на себя никакого обязательства за качество его правдоподобности.

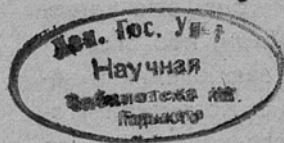


Пишущий эти строки припоминает из своей практики нескольких свидетелей такого рода. Один, в деле о шантажном вымогательстве согласия на развод, дал столь невероятное по своим подробностям показание, что председатель счел необходимым получить точные сведения о его профессии и спросил его—чем он занимается? Свидетель на минуту смешался, но на настойчиво повторенный вопрос спокойно ответил, покручивая усики и поглядывая на свои лакированные ботинки— „я занимаюсь тем, что собираюсь уехать из Петербурга...“ Другой свидетель, по громкому делу о подлоге миллионного завещания Беляева, мог быть назван типичнейшим представителем сознательной и бьющей в глаза лжи. Содержась под стражею, он сам просил вызвать себя в суд, имея показать нечто чрезвычайно важное. Введенный в залу, он уселся под предлогом боли в ноге и с любопытством разглядывая присутствующих, смеясь глазами и делая театральные жесты, начал явно лживый рассказ, опровергаемый почти на каждом слове фактами и цифрами. Очевидно стараясь рассмешить публику и самому потешиться, он на все обычные вопросы отвечал в иронически-почтительном тоне, называя председателя „господином президентом“. Он удивленно спрашивал, почему последнего интересует вопрос о его *вероисповедании*, любезно прибавляя „православный! православный—pour vous être agréable...“,—объяснил, что нигде не *проживает*, ибо „герметически закупорен“ в [месте своего заключения и заявил, что судился дважды—один раз в Ковенской уголовной палате в качестве таможенного чиновника „за содействие к водворению контрабанды“, при чем оста-



влен в „сильнейшем подозрении“, а в другой—в Версальском военном суде за участие в восстании коммуны, при чем приговорен „к расстрелу“. „Но приговор,—прибавил он—как *быть может* господа присутствующие изволят сами заметить—не приведен в исполнение“. В показании своем он настойчиво утверждал, что был в *два часа* дня, 4 апреля 1866 года на Дворцовой площади, приветствуя, вместе с собравшимся народом, невинного после выстрела Каракозова, государя. На замечание прокурора, что покушение было совершено в *четвертом* часу и весть о нем ранее четырех часов не могла облететь столицу, этот свидетель, хитро прищурив глаза и обращаясь к председателю, сказал: „мне кажется, господин президент, что для патриотических чувств не должно существовать условий *места и времени!*“

Очевидно, что при исследовании и изучении *таких* показаний, психологическому анализу нечего делать с их существом. Ему место лишь в отыскании причин и побуждений, влекущих свидетеля к его самодовлеющей лжи...



## Издательство „ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“.

*Вышли в свет:*

1. А. Л. Волынский. Четыре Евангелия.
2. Н. Н. Евреиннов. Первобытная драма германцев.
3. Н. А. Некрасов. «Каменное сердце» (повесть из жизни Ф. М. Достоевского) под редакцией и со вступительной статьей К. И. Чуковского.
4. Н. А. Некрасов. Неизданные произведения; под редакцией и со вступительными статьями В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского.
5. Виктор Муйжель. Детские рассказы (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 2).
6. Н. Хаммарстрём. Курре и др. рассказы, перевод со шведского Елены Благовещенской (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 1).
7. Анатолий Франс. «Маленький Пьер», перевод М. А. Кузьмина.
8. А. Ю. Финн-Енотаевский. Карл Маркс и новейший социализм.
9. Барбра Ринг. Пейк. (Из жизни маленького норвежца). Перевод с норвежского Елены Благовещенской (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 3).
10. А. Ф. Бони. Память и внимание (Из воспоминаний судебного деятеля).

*Печатаются:*

11. К. Чуковский. Футуристы.
12. Проф. И. М. Булишер. Денежное обращение.
13. Чтец декламатор. Составил Д. О. Гликман (Дух Банко).

*Готовятся к печати:*

14. М. Е. Салтыков (Щедрин). Неизданные письма к Некрасову и др., под редакцией и со вступительными статьями В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского.
15. А. Горнфельд. Федор Соллогуб.
16. Проф. Е. Тарле. Победители и побежденные. (Европа после войны).
17. В. Э. Мейерхольд. Воспоминания об Александре Блоке с приложением писем Блока к Мейерхольду.
18. А. В. Оссовский. А. К. Глазунов. К 40 летию композиторской деятельности.
19. В. П. Коломийцов. Кольцо Нибелунга. Трилогия Р. Вагнера.
20. Д. М. Мусина и Э. А. Старк (Зигфрид). Изадора Дункан. Личность и творчество.

*Склад изданий: Думская, 5.*